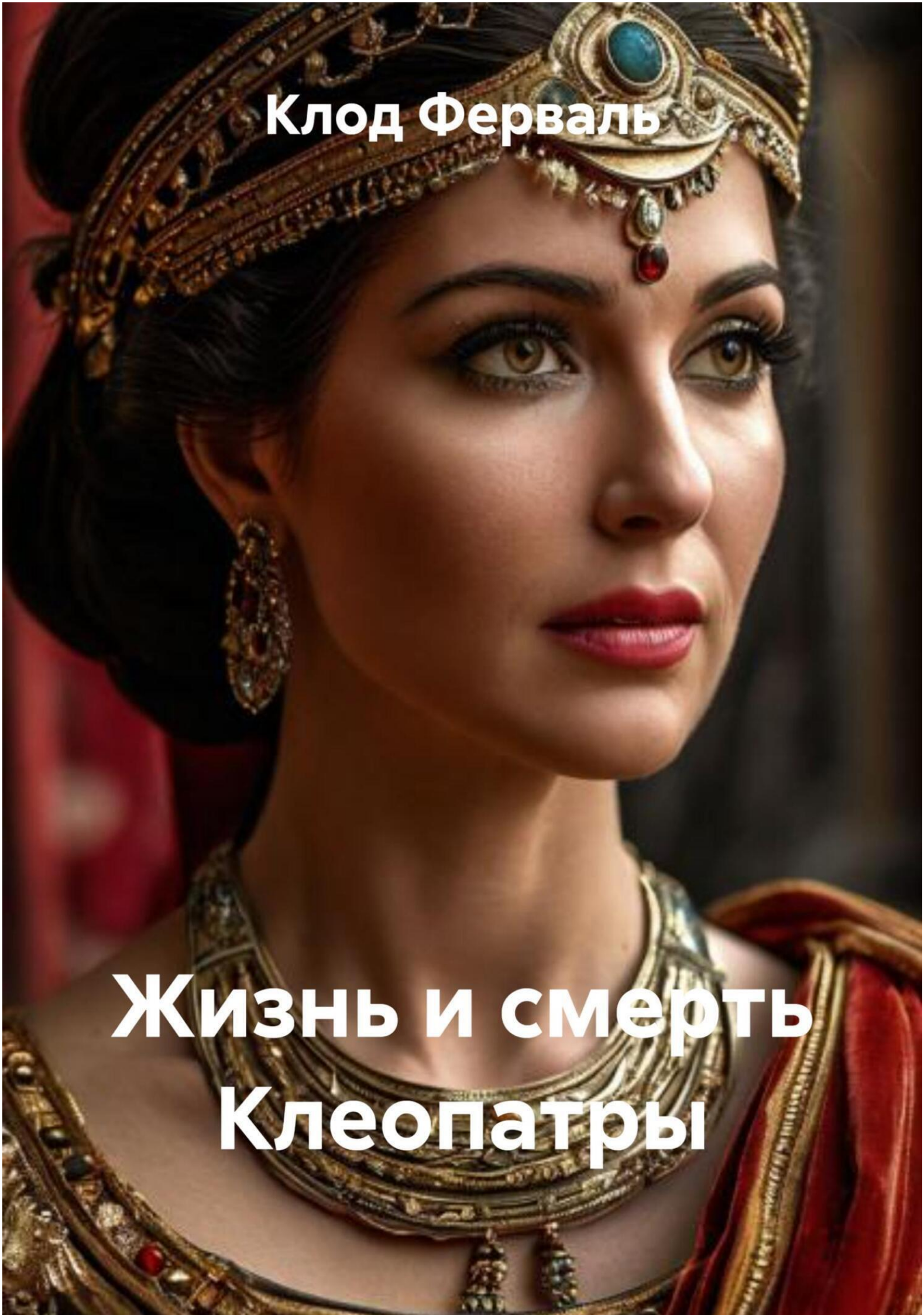
Клод Ферваль
Жизнь и смерть Клеопатры

Клод Ферваль

Жизнь и смерть Клеопатры

«Автор»
2025

Ферваль К.

Жизнь и смерть Клеопатры / К. Ферваль — «Автор», 2025

«Жизнь и смерть Клеопатры» Клода Ферваль — это классический исторический роман, предлагающий глубокий и романтизированный портрет легендарной царицы. Автор не просто пересказывает события, а погружается в её внутренний мир, исследуя страсть, политический расчёт и трагедию женщины, бросившей вызов Риму ради любви и власти. Это драма о роковом выборе, великих страстях с Цезарем и Марком Антонием и неизбежном пути к гибели.

© Ферваль К., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Жизнь и смерть Клеопатры. 5
1. Юлий Цезарь. 6
2. Александрия. 22
3. Марк Антоний. 35
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Клод Ферваль
Жизнь и смерть Клеопатры

Жизнь и смерть Клеопатры.

Клод Ферваль.

Под псевдонимом «Клод Ферваль» скрывалась писательница Маргарита Тома-Галлин, и именно она является автором этого романа о Клеопатре. Маргарита Тома-Галлин (Marguerite Thomas-Galline, 1856–1943) – французская писательница.

1. Юлий Цезарь.

Был около седьмого часа. На запруженных набережных Александрии матросы заканчивали разгружать свои товары. Быстро, словно запоздалые птицы, рыбацкие лодки возвращались в старые бассейны порта Эйноста. Ночь была почти полной, когда последняя лодка украдкой скользнула к причалу. Из неё сошел человек, широкоплечий, закутанный в темный плащ, с дорожной шапкой, надвинутой до ушей. С бесконечными предосторожностями он помог сойти на берег женщине, столь юной, столь гибкой, что её можно было принять за ребенка.

Но, хотя ей едва минуло семнадцать лет, можно ли, однако, сказать, что Клеопатра была ею? Замужем уже два года за братом, которого династический закон навязал ей после смерти их отца, отвергнутая этим вероломным соправителем, отправленная в изгнание и вернувшаяся в этот вечер под защитой Аполлодора, она обладала, во всяком случае, жизненным опытом, совсем не обычным для этого возраста. Можно даже спросить, какие впечатления, сходные с теми, что формируют обычное детство, могла получить при развращенном и бесхитростном дворе дочь Птолемея Авлета, того удивительного короля-дилетанта, который против беспорядков революции и иностранного вторжения умел противопоставить лишь упрямые звуки своей флейты. Как бы то ни было, происходя из рода, излишне утонченного, сама вся пропитанная искусством и литературой, проникнутая серьезными науками, несомненно, что эта отроковица вступала в жизнь с редкой преждевременной зрелостью. В то время как другие, лишь недавно покинувшие гинекей, еще любят добродетель или мечтают о легкомысленных удовольствиях, у неё уже был вкус к тому, чтобы обольщать и властвовать. Свободный от всяких предрассудков, её ум смело смотрел на вещи прямо; она не игнорировала, чего стоят мужчины, и прилагала, чтобы использовать их или понравиться им, душу умную, живую и осведомленную.

Как только в глубине Фиваиды, куда по совету смутьяна Потина царь сослал её, она узнала, что Юлий Цезарь вошел в Александрию, одним из тех предчувствий, какие иногда бывают у сверхчувствительных натур, она поняла, что к ней пришло нежданное счастье. Но как добраться до великого человека? Какими средствами добиться от его всемогущества помощи, которая из пленницы сделает её царицей? Греческий ученый Аполлодор, бывший её учителем риторики и оставшийся ей верно преданным, вступил в переговоры. Цезарь уже при первой беседе показал себя благосклонным к молодой гонимой женщине, скорее чем к Птолемею и его коварному министру, и она не колебалась. Как бы строго она ни была под надзором, как бы ни были ненадежны дороги, кишащие тогда разбойничьими и убийственными шайками, в сопровождении лишь двух рабов, она бежала и по Нилу поднялась до Канопа, где её ждал Аполлодор. Опираясь на эту твердую преданность, она была уверена, что достигнет своей цели. Переправа, однако, не обошлась без риска. Выбранная нарочно среди самых скромных, чтобы не привлекать внимания, утлая рыбачья лодка чуть не поглотила их. И какая же радость, какая отрада вновь обретенного благополучия, когда под своими трепетными маленькими ногами юная Лагидка почувствовала почву своей столицы, милой Александрии, которую она по праву рождения считала своей собственностью.

Теперь предстояло добраться до дворца, и это было не самым легким. Несмотря на римскую оккупацию, солдаты, агенты египетского царя зорко следили повсюду. Узнанная, Клеопатра снова попадала во власть своего брата.

Аполлодор, к счастью, не был лишен ни хитрости, ни силы. С заботой, подобающей столь драгоценному предмету, он закутал беглянку, скрыв её очертания в сверток одеял, и, как простой тюк, взвалил её на свои плечи. Видя, как по набережной шагает этот носильщик, нагруженный, по-видимому, как и многие другие, кто мог бы заподозрить тайну его ноши? В Бру-

хиуме его знали. Когда он объявил, что, повинуясь воле Цезаря, принес ему ковры, стража пропустила его.

Юлий Цезарь был тогда уже не молод. Все, что жизнь может дать славы, власти, наслаждений, он получил от неё, и его нервный организм, казалось, временами был этим истощен. Преждевременно облысевший лоб, лицо, изрытое морщинами, выдавало эту усталость; но при малейшем волнении сверкающий блеск взгляда тут же это опровергал. Нельзя было приблизиться к божественному Юлию, не испытав сразу же его влияния, не почувствовав то нечто величавое и в то же время столь обаятельное, что, чтобы объяснить его, возводили его предков, через Энея, к самой Венере. Если он говорил, его любезные жесты, гармоничный акцент его голоса привлекали к нему симпатии собеседника ничуть не меньше, чем его слова. Молчал ли он? его молчание было красноречиво, ибо вспоминали речи, памятные слова, которые, изливаясь из его гибких уст, находили отзвук во всем мире. Где бы он ни был, его окружал орелон его подвигов. Его не только представляли во главе своих легионов, ведущим их от одного конца до другого той Галлии, что победа сделала его владением; не только видели, как через альпийские теснины он вновь спускается в Италию, одним решительным прыжком переходит рубикон и обрушивается на мятежный Рим, который, едва этот укротитель появился, покорно ложился у его ног; но легенда уже завладела им. Германцев, которых он победил, изображали как исполинов с гибельным взором; рассказывали, что Британия, куда он первый отважился проникнуть, погружалась во тьму на три месяца, что её населяли призраки, и все эти вымыслы, прибавленные к реальным победам, делали их еще более чудесными.

Обращаясь к такому человеку, приходя просить у него помощи и поддержки, Клеопатра, без сомнения, рассчитывала на свою правоту, но она не была так наивна, чтобы верить, что лучший шанс для женщины добиться справедливости – это всегда быть правой. Едва выбравшись из мешка, где целый час её прелести были заточены, она сделала несколько прыжков, словно молодое животное, вновь обретшее свободу, затем с чисто женской поспешностью схватила маленькое зеркальце из потемневшего серебра, висевшее на цепочке у её пояса. Сколько повреждений она констатирует! Её тонкая льняная туника совсем помята; её растрепанный пучок распустился, и каштановые волны её волос рассыпались по шее; ни атома сурьмы вокруг её глаз, ни румян на её губах, на её щеках не осталось. Но, столь простая, украшенная одной лишь своей юностью, разве она от этого менее свежа? менее выразительна? менее волнующа, эта восхитительная просительница, которая через мгновение окажется перед своим судьей? Однако она тревожится, она спрашивает себя, как примет её человек, привыкший к ухищрениям римлянок, властитель, которому все, самые добродетельные так же, как и самые развращенные, старались понравиться. Ибо слава Цезаря переплыла моря. Известно, что, будучи великим полководцем, писателем, правоведом, оратором, он столь же был и распутником. Помимо кутежей, обычных для всей молодежи, кои он широко практиковал в кругах, предававшихся галантным утехам, известно, что его проделки вносили смятение во многие семьи, не исключая и семьи его лучших друзей; и не в хорошем смысле к его имени прилагали эту эпитет: omnium mulierum vir – муж всех женщин.

Однако Клеопатра напрасно тревожилась. Какую картину могла запечатлеться в душе, жаждущей нового, самобытного, необычайного, и на нервах, пресыщенных, как у императора, живее, чем вид её царственной юности? С первого же мгновения, как только он созерцал ритмичную и, можно сказать, музыкальную грацию её тела, её маленький лоб, почти прямой линией переходящий в переносицу, её зрачки, в которых плавало золото, её тонкие, словно крылья, ноздри, её полуоткрытые, чувственные губы, и особенно её кожу, эту сияющую, цвета янтаря кожу, которая наводила на мысль о каком-то прекрасном солнечном плоде, его пронзила невыразимая дрожь. Никогда, нет, никогда Запад, даже Рим, со своими пламенными девами, со своими пикантными и опытными матронами, не предлагал его желанию ничего столь восхитительного. И готовый всё предоставить, чтобы всё получить, он спросил:

– Чего ты хочешь? Какое из твоих желаний я могу исполнить?

С очаровательной лестью молодая женщина ответила на латыни, которую она знала так же легко, как греческий, египетский, сирийский и несколько других наречий. Она изложила злоупотребление властью, жертвой которого стала, ту несправедливость, которая превратила её в бедную странствующую принцессу, и с видом полного доверия, делавшим её неотразимой, призналась, что рассчитывает на всемогущество Цезаря, чтобы вернуть себе корону.

Её голос был мягким, вкрадчивым; вещи, которые она говорила, её притязания против её брата-узурпатора становились, едва она их высказывала, неоспоримыми истинами. Как, по крайней мере, они могли не показаться таковыми галантному судье, на которого её восхитительные черные глаза опускались, словно лучи светил?

Он тут же почувствовал нежное желание исполнить её просьбу. Но возникали трудности. Прибыв в Египет как друг, он располагал здесь лишь небольшим количеством войск. Войска же Птолемея, напротив, были многочисленны и полны решимости защищать своего царя. Благоразумие предписывало ничего не предпринимать сгоряча. Но это никак не устраивало ту, чья поспешность в стремлении захватить власть имела стремительность весенних потоков. Обнаружив живость и полемический задор, неожиданные у столь юного существа, Клеопатра принялась передавать свой пыл Цезарю. Если он не может немедленно начать за неё кампанию, то пусть как можно скорее созовет свои легионы, а в ожидании их прибытия провозгласит её единственной и полноправной государыней.

Пока она говорила, взгляд императора не отрывался от неё; он следил за каждым её движением, похожим на волны, и за изысканным изгибом её губ. Какая восхитительная любовница она будет! – думал он, вдыхая аромат её волос.

И, угадывая его побежденным, готовым на любое согласие, Клеопатра чувствовала, как в неё проникает эта упоительная уверенность: Вскоре я буду царицей.

Узнав, что сестра, от которой он считал себя избавившимся, вернулась в Александрию и что Цезарь поклялся восстановить её на троне, Птолемей 14-ый пришел в одну из тех безумных яростей, которым был подвержен этот отпрыск выродившегося рода. – Предательница! – воскликнул он, разбивая ногой прекраснейшую мурринскую вазу, – она посмела обмануть меня! Третейский суд, на который она имела наглость ссылаться, – не что иное, как отвратительное вероломство! И, поставив Ахиллу во главе своих войск, он велел перебить римскую стражу.

Это стало началом войны, которая продлится два года. Имея за собой все силы Республики, было очевидно, что Цезарь должен победить; но начало, состоявшее из стычек и мятежей, для подавления которых его солдаты не были привычны, оказалось трудным. Чтобы не подвергаться далее уличным боям, где он не всегда имел преимущество, защитник Клеопатры счел благоразумным запереться со своим гарнизоном за стенами Брухия, который мог, в крайнем случае, служить цитаделью, и, в ожидании обещанных легионов, выдержать там осаду.

Быть пленницей вместе с человеком, которого она обещала себе околдовать до тех пор, пока у него не останется иных интересов, кроме её собственных, – каких еще более благоприятных условий могла бы желать молодая женщина? Начатый при Александре и последовательно расширявшийся каждым из его преемников, которые – подобно фараонам, но с более утонченным вкусом – имели страсть к строительству, Брухий был не просто дворцом. На возвышенности, в том месте, где холмы, тянущиеся вдоль побережья, понижаются к морю, его многочисленные постройки образовывали нечто вроде отдельного города, огромный царский квартал невиданного разнообразия и роскоши, где образцы массивной египетской архитектуры смешивались с изящными антаблементами греческого искусства. Часть, в которой жила Клеопатра, была специально обустроена Птолемеем Авлетом, желавшим обеспечить своей любимой дочери достойное её обрамление. Этот музыкант, ценитель всего редкого и прекрасного, столь же чувствительный к чистоте линий, как и к чистоте звуков, стремился обогатить её тем, что человеческие руки создали самого совершенного. Нельзя было сделать и шага, не встре-

тив драгоценные творения Мирона, Праксителя, Фидия, тонко вырезанные канделябры, стулья изящных очертаний, ларцы из слоновой кости, тяжелые от инкрустаций, золотые треножники, на которых сжигались редкие благовония, и повсюду, в изобилии, ковры с узорами, переплетенными словно сны. Не было ни одной комнаты в этой роскошной обители, которая не радовала бы взор игрой цвета и формы, где не чувствовалось бы, что всё сочетано для благородной радости жизни.

Но истинным чудом, превосходящим всё, и какого нельзя было встретить под другим небом, кроме египетского, были сады. Открытые морским бризам, там было восхитительно дышать. Террасы сменяли террасы, соединенные между собой широкими мраморными лестницами и пересеченные фонтанами с хрустальной водой. Под влиянием этих вод, проведенных из Нила по акведуку, растительность достигала исполинских размеров, будь то зелень, доставленная с большими затратами из более умеренных регионов, или же смоковницы и пальмы, живущие в зное. Цветы росли повсюду в изобилии; особенно розы, привезенные из Персии в таком количестве, что даже клумбы Экбатаны показались бы бедными рядом с теми, что благоухали под окнами царицы.

Как же сын Венеры, которого политическая необходимость так часто увлекала в холод варварских стран, мог не ощущать до опьянения новизну такого пребывания? Казалось, всё здесь было устроено так, чтобы способствовать некоему исключительному блаженству, и больше всего – существо, полное грации и юности, которое было его верховным цветком. Он полюбил её с первого же ведра той пламенной, безраздельной страстью, что подобна небесному пожару, когда лето подходит к концу и деревья за несколько дней становятся ярче, пышнее, чем были за весь сезон.

Она же позволила себя полюбить. Лишения, изгнание, страх перед жестоким обращением подготовили её ко многим уступкам. Не исследуя природу чувства, которое бросало её в объятия Цезаря, даже не замечая примеси расчета, она вся отдалась радости своего успеха. И сколько раз, поразмыслив, она должна была радоваться, что, ища в нем лишь защитника, нашла сверх того самого влюбленного, самого деликатного из любовников! В безопасности на крепком корабле, на который он вознес её рядом с собой, она отдавалась его могущественной опеке, предавалась ей, как силе, чьи составные части не разберешь. Если она и не волновала тайных источников его существа, любовь великого человека наполняла её такой гордостью, пробуждала в ней столь великолепные надежды, что её сердце забывало об отсутствии взаимности. Мечтательница о прекрасном будущем, она наслаждалась, чувствуя себя унесенной к неведомым судьбам, которые, с таким кормчим, как Цезарь, не могли не быть славными.

Хотя и омраченные грохотом катапульт и падением снарядов, которыми осаждающие осыпали стены Брухия, дни, которые влюбленные провели там в заточении, были восхитительны. Видя лишь друг друга, имея главной заботой, постоянным занятием – нравиться друг другу, осыпать друг друга ласками, они полностью осуществили мечту об уединении вдвоем, которую столько свободных пар тщетно преследуют.

Однако подкрепления, которые призвал Цезарь, начали откликаться. Киликийцы, родосцы направляли к Александрии корабли, груженные припасами, которые проход, оставшийся в власти осажденных, позволял доставлять к ним; хорошо обученную пехоту предоставила Галлия; Рим прислал вооружение, и, под командованием Кальвина, кавалерия наконец завершила численность. Осада, длившаяся более шести месяцев, была тогда снята, и война переместилась в открытое поле. Армия под командованием Ахиллы была не столь незначительна, как можно было предположить. Несколько раз умелые маневры ставили Цезаря в затруднительное положение. Однако то, что должно было случиться, – ибо на его стороне были численность и римская доблесть, – произошло в тот день, когда на равнинах Дельты он смог развернуть свои когорты. Было дано решительное сражение, и разбитые, опрокинутые, сброшенные в Нил, птолемеевы bandes были уничтожены. Сам царь, в момент, когда на импровизированной пло-

тине пытался переправиться через реку, нашел там смерть. Более милосердный, чем судьба, Цезарь даровал жизнь Ахилле, которого привели к нему закованным в цепи. Он удовольствовался требованием формальной капитуляции и галопом помчался обратно в Александрию.

На седьмом этаже башни Клеопатра ждала. Как только среди пыльного облака она увидела блеск орлов, её сердце забилось чаще. Не в силах сдержать счастливого нетерпения, она велела подать свои носилки:

– И бегом! – приказала она носильщикам, двенадцати эфиопам, чьи бронзовые ноги тут же помчались по дороге.

По золотому ястребу, паривщему над её кровлей, и пурпурным занавесям, в которые они были завернуты, царские носилки узнавались издалека. Как только их приближение было замечено, Цезарь соскочил с лошади и с нежным почтением, составлявшим манеру его галантности, приветствовал свою возлюбленную. Он не видел её несколько дней и горел желанием выразить ей свою любовь.

– Египет твой, – сказал он ей, – я покорил его лишь для того, чтобы положить к твоим ногам. Вот он. И одновременно он поднес ей ключи от столицы, которые Ахилла, сдаваясь, должен был передать.

Познав отныне всю тяжесть римской воли, мятежники осознали, в какое безумие вверг их Потин. Насколько они были надменны прежде, настолько же сломлены и принижены были теперь. Они ожидали репрессий, но были лишь амнистии. Кто бы стал оспаривать царицу, которую навязывал столь великодушный победитель? При первом же её появлении на публике её приветствовали так, как будто её присутствие исполняло заветное желание всех сердец.

Благодаря thus этой войне, которая велась ради неё, из любви к ней, Клеопатра вновь обрела корону своих предков. Однако, чтобы завершить завоевание общественного мнения, она вторично подчинилась древнему династическому обычаю, требовавшему, чтобы дети одного отца разделяли верховную власть, и приняла в супруги своего младшего брата Птолемея 15-го.

И вот, когда всё было устроено наилучшим образом, Цезарю оставалось лишь покинуть Египет и вернуться в Рим, куда его призывали сторонники. Но Цезарь больше не принадлежал себе. Всецело охваченный страстью, которая до конца его жизни будет вдохновлять все его поступки, ставить выше долга, честолюбия, даже интересов и способствовать его гибели, он откладывает свой отъезд. Закрывая уши для предостережений, которые приносил каждый гонец, он слушает лишь дорогую искусительницу, которая ко всем очаровательным чарам, уже использованным ею, чтобы удержать его, добавляет предложение совершить путешествие.

В ту эпоху, как и сегодня, плавание вдоль берегов Нила, где и поныне выстроились следы древней славы фараонов, было изысканным удовольствием. Многие богатые патриции, восточные принцы, художники из Малой Азии и Греции, пресытившись увеселениями Александрии, поднимались на борт одного из этих увеселительных кораблей, именовавшихся канже или таламеги, и в течение недель, под вечно ясным небом, предавались сладостной неге отдыха.

Канже, на которую Клеопатра пригласила Цезаря, был подлинным плавучим дворцом. Роскошные покои Брухия были воссозданы в нём в миниатюре, а множество следовавших позади таламег позволяло взять с собой целый штат прислуги – не только слуг, но и танцоров, музыкантов, поэтов, призванных услаждать досуг высоких особ.

Стояло начало зимы – пора, что в иных краях погружает всё в унылый иней, когда луга облачаются в траур, а бедные, зябкие деревья мечутся в отчаянии. Но ничего подобного не было на безмятежной и синей глади, по которой плыли наши путешественники. Уносимые ритмичными взмахами вёсел, на которые налегали пятьдесят нубийцев, они плыли, опьянённые свободой, наслаждением и простором, к некоей Земле Обетованной, что на каждой остановке дарила им всё более щедрую дань солнца.

Внезапно, после зелёного волшебства первых дней, растительность поредела. Канже скользил меж оголённых берегов. Пространство, песчаное до самого горизонта, представляло собой череду сухих холмиков, словно серебряные завитки, таявшие в мареве. Едва ли кое-где встречались пучки алоэ, размахивавшие своими острыми мечами, или султаны финиковых пальм, которые в сухости воздуха казались гигантскими факелами, готовыми вспыхнуть. По мере приближения к Мемфису строений становилось больше: храмы с приземистыми колоннами, дворцы ослепительной белизны, пилоны мощные, как горы, приходили посмотреть на свое отражение в реке. Напротив пирамид путешественники остановились. Неимоверный труд, воздвигший эти гробницы, поражал разум Цезаря. Он, будучи учеником Платона, придававший мало значения телу и веривший, что для достижения бессмертия надо полагаться лишь на красоту, исходящую из разума, любви и высоких деяний души, спрашивал себя, какие мысли о смерти обуревали мозг Хеопса, Хефрена? Считали ли они её истинной жизнью, а эту – лишь переходом? Воздвигали ли они ей храмы? Или, негодуя на её разрушения, их гордыня из противления воздвигла против неё эти грозные треугольники?

Среди столь многих странных фигур, населяющих равнины Мемфиса, большой сфинкс в Гизе уже тогда привлекал любопытство. Клеопатра мельком видела его издали во время своего бегства и нашла забавным измерить перед Цезарем свою грацию и малость рядом с ним. В час, когда они приблизились к нему, солнце заканчивало свой путь за ливийскими холмами. На своем песчаном ложе чудовище словно возникало из неведомого бесконечного берега, из какого-то застывшего океана. В то время как его загадочное лицо, обращенное к востоку, было уже покрыто тенью, его рыжая спина собирала последние лучи света, которые делали её словно живой. Вспомнив then того другого сфинкса, которого, встревоженный своей судьбой, Эдип однажды вопрошал, не пришла ли мысль у диктатора, перед которым будущее тоже было туманно, задать и этому какой-нибудь вопрос? Получил ли он ответ? Тайна! Но, трепеща, как он и был, от соприкосновения с молодой плотью рядом, глядя на багровую луну, вдыхая волнующую душу ночи, если ему и был подан какой-то мудрый совет, он едва ли был в состоянии его услышать. Любовь в нем говорила слишком громко.

На тридцатый день своего плавания влюбленные прибыли к Филам. Эта жемчужина, оправленная в двойную лазурь атмосферы и воды, столь чистых, столь прозрачных, что задаешься вопросом, которая из них является зеркалом другой, во все времена вдохновляла поэтов. Те, кто однажды ступил на её порог, розовый, как раковина, не уставали воспевать её райскую мягкость. Остановиться там, разбить свой шатер, забыть в служении красоте всё, что elsewhere её оскорбляет или затемняет, сразу же становилось мечтой художественных натур; но немногие осуществляли её. С самой глубокой древности ограниченная территория острова принадлежала жрецам Исиды, которые неохотно уступали место профанам. Хранители храма, который благочестие верующих сделало самым богатым в Египте, эти слуги доброй богини не желали, чтобы их тревожили в каких-либо их привилегиях; они особенно намеревались делить лишь между собой пребенду, не имевшую себе равных.

Как это часто бывает в святилищах, где забота о божественном не заставляет забывать о благах земных, прибытие государей было воспринято как дар судьбы. Лодки, груженные музыкантами, спустились на несколько стадий им навстречу, и на берегу их ждала процессия жрецов с песнопениями. Пришлось отправиться в храм, выслушивать речи, принимать депутации, подношения. В знак благодарности были принесены в жертву козы, лилась кровь голубей.

После этого приема официального характера, которого невозможно было избежать, Клеопатра выразила пожелание, чтобы её и Цезаря оставили одних, свободных от всякой торжественности, как того требовала их прихоть. В жаркие часы они оставались внутри портиков, где фонтаны поддерживали некоторую прохладу, либо беседуя, глядя, как распускаются синие, белые, розовые чашечки лотоса, либо погруженные в сладкую дремоту, где заботы, планы, честолюбивые замыслы – всё, казалось, было забыто. Однако юная царица не упускала из виду

тайную цель этого путешествия, которая заключалась в том, чтобы неизгладимыми впечатлениями привязать к себе великого покровителя и сделать ему дорогим Египет. Вечером, когда вместе они вдыхали у края аллей тропические фиалки, источающие медовый запах, или, углубляясь в заросли, чьи ветви, склонившиеся над их головами, осыпали их золотой пылью, она с детским испугом отвечала на комплименты, которые он ей расточал: «Да, без сомнения, моя страна – прекраснейшая в мире, но как трудно ею управлять!» А он, тронутый, чувствуя её такую хрупкую у своей руки, спешил пообещать постоянную, могущественную поддержку своего отечества.

Поскольку эта передышка от публичной жизни не могла длиться вечно, влюблённые по крайней мере пожелали увековечить её счастливое воспоминание. Был начертан план храма, и прежде чем покинуть остров, в ограде из олеандров, где резвились птицы, яркие, как искры, они заложили первый камень. Прошло двадцать веков, и паломники, всегда следующие друг за другом в рай Филе, до сих пор восхищаются изящной мраморной колоннадой, тонкой и легкой в своем чистом коринфском стиле. Никакое имя божества не начертано на её фронтоне, но каждый догадывается, кому посвящена эта сладострастная драгоценность.

В Александрии Цезаря ждала делегация. Когда в Риме узнали, что победитель при Фарсале, герой, на которого возлагалось столько надежд, задерживается рядом с новой Цирцеей, смятение было всеобщим. Неужели он воображал себя защищенным от превратностей судьбы? То, что совершили его удача и гений, его нерадение могло разрушить. Что станет, если сторонники Помпея, зная, что их враг вовлечен в галантное приключение, мобилизуют новые войска? Уже самые смелые поднимали головы, и угроза была повсюду.

Какой бы мягкой подушкой ни была женская грудь, человек цезарева склада просыпается, когда друзья дают ему понять: «Твоя честь в опасности». Да, при голосе тех, кто пришел за ним, влюбленный встрепенулся. Он понял, что все великие деяния, исполнителем которых он был, обратятся в ничто, если он не ответит на призыв, с которым к нему обращались сегодня. Необходимость отъезда стала очевидной. Он уедет; но пусть ему дадут время подготовить к разлуке ту, которая тоже возложила на него свое доверие.

Со всеми предосторожностями встревоженной нежности он предупредил Клеопатру.

– Как! – простонала она, – ты хочешь разомкнуть руки, что я обвила вокруг твоей шеи? И горячим объятием она попыталась удержать его.

Непоколебимый против всей вселенной, Цезарь чувствовал себя слабым против того, кого любил. Он был готов уступить. К счастью, его память напомнила ему максиму, бывшую правилом его жизни: Повсюду, всегда первый. И его мужество укрепилось. Впрочем, он не принадлежал к тем закоренелым сластолюбцам, у кого говорит один лишь инстинкт. Его превосходная природа требовала действия; волнения public жизни стали для него потребностью. «Я привык, – сказал он себе, – считать людей презренным стадом; неужели я, малодушной бездеятельностью, сравняюсь с теми, кем презираю?»

Царица, однако, впадала в отчаяние при одной мысли его потерять. Что станется с ней, когда он будет далеко? Кто станет её защищать? Ограждать от врагов? Помогать ей усмирять буйный и коварный народ?

Она должна была стать матерью. Рассчитывая на новую связь, которая устанавливалась между ней и её возлюбленным, она добилась, чтобы он не покидал её до рождения ребенка.

В действительности Цезарь не был равнодушен к этому рождению. Мысли, которые он высказывал на этот счет, даже были таковы, что могли породить величайшие надежды в душе Клеопатры. То это было сожаление, что ни одна из трех жен, которых он имел, не подарила ему сына, еще более горькое – что он потерял свою дочь Юлию, то забота о своем наследии. Кому перейдут его богатства? обширные земли, которыми он владел в Умбрии? Кто продолжит божественный род Юлиев? Конечно, у его сестры Атии был сын: Октавий; но этот племянник был слабого здоровья, и нерешительный, робкий характер, который он проявлял, никак не

предвещал блестящей судьбы. Кто знает, не будет ли маленький незаконнорожденный, которого готовила ему Клеопатра, лучше одарен для славы?

Тот появился на свет как раз накануне дня, когда, устав ждать, друзья Цезаря добились, чтобы он наконец снялся с якоря. Это был сын. По невероятной удаче, на едва сформировавшихся чертах маленького существа явственно проступало сходство с отцом. Растроганный, как легко бывают сердца, начинающие стареть, император решил, что ребенок будет назван Цезарионом, и обещал его усыновить. Это было не всё. В тронутый час прощания, в беседе, полной сожалений, излияний, Клеопатра выразила желание, которое занимало всю её душу: «Быть твоей женой, о Цезарь!» Да, под её маленьким лбом, вновь привыкшим к короне, честолюбивые замыслы мало-помалу расширились. Ей уже недостаточно было царствовать над владениями своих предков, – к тому же урезанными, сведенным к положению едва ли более чем торговой державы, – она мечтала соединить свою судьбу с судьбой повелителя Рима.

Эта перспектива сперва несколько испугала Цезаря. Разве не в его авентском дворце, возвышавшемся над Римом, ждала возвращения его законная супруга Кальпурния? Разве сама Клеопатра не была замужем, скована династическим обычаем? Но что значат такие препятствия для юной героини, которая измерила мир и не нашла его слишком обширным для своих замыслов? Она выдвигает всё, что они вдвоем, сильные договором, который объединил бы неограниченные богатства одной и военный гений другого, могли бы осуществить. Проект был грандиозен и не мог не прельстить Цезаря. Он сразу увидел его преимущества, столь прекрасно согласующиеся с его любовью. Но позволит ли ему Рим его осуществить? Закон, один из тех, за которыми Сенат еще строго следил, запрещал патрициям жениться на иностранках. «Разве ты не выше законов?» – вкрадчиво нашептывал дорогой соблазнительный голос. Какой мужчина устоит, услышав, что его ставят на уровень богов?

Настал момент отъезда. Взволнованный, Цезарь обнял её в последний раз. Он не дал формального обещания, но в его прощании любовника Клеопатра почувствовала торжественность обручения.

В одиночестве её воображение разгорелось; её занимали славные фантасмагории. Ей чудилось, будто она видит униженный Рим, покорный воле Александрии; вассалы, у её ног, складывающие своё оружие и ключи от своих столиц. Бесчисленные народы проходили перед ней, и среди ликующих криков ей слышалось её имя, смешанное с именем Цезаря. С такими миражами пустыня разлук преображается; она перестает быть лишь унылой бесплодной равниной; этапы сближаются, и намеченная цель кажется более реальной, чем унылая действительность.

Едва вырвавшись из чары, которой опутывали его бархатные глаза египтянки, Цезарь вновь стал самим собой: проницательным, ясным, скорым на умелые решения. Его взгляд охватил картину в целом. Она была далека от той, что создала его доблесть на следующий день после Фарсала. Не чувствуя его более грозным, армия Помпея успела реорганизоваться. Она угрожала со всех сторон, и наибольшая опасность, казалось, исходила с Востока. Поэтому, прежде чем вернуться в Италию, император отправился в Малую Азию. Он начал с того, что разделался с вражеским флотом, загромождавшим устье Кидна. Затем во главе корпуса испытанных ветеранов, способных на чудеса, он разбил Гая Кассия при Эфесе и Фарнака при Зеле. После этого он повернул к Африке, где одержал победу в битве при Тапсе. И наконец, получив с перепуганных династов крупные суммы за уступленные им царства – деньги, в которых он так нуждался, – Цезарь возвратился в Рим, отягощённый добычей, которая должна была утихомирить недовольных.

Цезаря ждал триумф, триумф, какого Священная дорога еще не видывала. Увидев его увенчанного лаврами, сопровождаемого процессией царей, бывших его пленниками, и выше всех них – знаменитого Верцингеторига, олицетворявшего сопротивление Галлии, народ забыл свои обиды. Долгое отсутствие было прощено. Вокруг колесницы, на которой золотыми бук-

вами было начертано знаменитое veni, vidi, vici, царил восторг детей, обретших своего отца. Высшие классы проявили больше сдержанности, и именно на народ будет опираться диктатор; его первые реформы будут направлены на улучшение его участи. Но он слишком хорошо знал эту изменчивую толпу и её склонность к быстрым поворотам, к которым располагает её непостоянство, чтобы ограничиваться лишь мудрыми и достойными деяниями. Забавлять плебс всегда было вернейшим средством заручиться его поддержкой. Вследствие этого триумфатор приказывает устроить празднества и пиры. Во всех кварталах города сыплется зерно, масло и вино становятся доступны всякому рту. Организуются представления; цирк наполняется толпой, которой щедро проливают кровь зверей и гладиаторов. В течение сорока дней, что длилась оргия, было лишь одно мнение. Цезарь был Прославленным, Непобедимым, Возлюбленным Отцом отечества. Все титулы, все почести шли к нему. Он консул, диктатор на десять лет, получает инсигнии великого понтифика; его курульное кресло возвышается над другими креслами, и на статуе, которую ему воздвигают в храме Юпитера, начертано слово Deus – Бог.

В Александрии дела шли не столь хорошо. Несмотря на то, что Цезарь оставил легионы под командованием Кальвина для поддержания порядка, там возникли мятежные движения. Более или менее открыто царицу обвиняли в том, что она привлекла чужеземца, отдалась римлянину и компрометирует честь династии, признавая его отцом своего ребенка. Неужели она собирается навязать египтянам будущего царя не их крови? Обвинения мало значат для того, кто чувствует в себе силы их игнорировать. Но Клеопатра еще не была той бесстрашной женщиной, которая позже осмелится бросать вызов общественному мнению и сама поведет армии в бой. Её двадцать лет хрупки, и они трепещут, ощутив на себе дыхание революций. Лишенная покровителя, который вернул ей трон и заставлял уважать её, она чувствует себя непрочно. Сможет ли она всегда противостоять козням? упрекам, мятежам? До сих пор престиж Цезаря, даже в его отсутствие, защищал её. Но если бы смутьяны сочли, что она покинута, предоставлена собственным силам, на какую попытку они бы не решились? А меж тем расползаются дурные слухи. Разве не рассказывают, что во время африканской экспедиции император развлекся с царицей Эноей. Неужели? Так скоро! Едва выйдя из постели, где он клялся ей в вечной верности! Ах, как беззащитна чувствует себя женщина, когда расстояние делает тщетным разомкнутый круг её рук!

Но это расстояние не непреодолимо. Если Цезарь, как он пишет, все еще любит её и страдает от разлуки, почему бы ей не отправиться к нему? К желанию вновь стянуть, если он хоть немного ослаб, связывающую их узы, примешивается любопытство к Риму. Рим – наследственный враг, соперница, которой всегда надо опасаться. Увиденная вблизи, соперница пугает меньше. Узнаешь средства бороться с ней. И Клеопатра предлагает свой визит.

После года разлуки было правдой, как он уверял в письмах, что чувства Цезаря не изменились. Если он и был галантен с царицей Нумидии, то это была минутная ошибка, или, вернее, потребность отвлечься, чтобы уйти от воспоминания, занимавшего в нем слишком много места. Имеет ли право мужчина, обремененный столь серьезными заботами, позволять себе погружаться в любовные образы? И на самом деле он вновь переживал, порой даже с интенсивностью, которой его разум не мог обуздать, сладострастные сцены в Брухии или часы, убаюканные неспешными водами Нила. Однако он не сразу принял предложение о визите. Привезти царицу Египта в Рим было делом серьезным. Он хотел пойти на этот шаг лишь после того, как все трудности будут устранены. Первая и самая сложная – это та антипатия, которую римское население питало ко всему, носящему корону. Казалось, до того это чувство было в нем укоренено, что одно приближение государя грозило ему монархией. А Клеопатра была подозрительнее всех прочих. Её знали как честолюбивую, и никто не ignorated, какими чарами она опутала Цезаря. Недовольство, которое одно время испытывали к нему, перекинулось на неё. Чтобы оправдать одного, обвиняли другую, взваливали на неё ответственность. Должна

ли была женщина обладать весьма необычными средствами, чтобы удерживать императора так долго вдали от его родины? Вдали от своих, которые его требовали?

До какой степени было благоразумно привозить свою любовницу в среду столь ревнивого общественного мнения? Цезарь задавался этим вопросом. Он не смел подвергать её враждебному приему и тем более покидать врагов, которых чувствовал готовыми воспользоваться малейшим его отсутствием. И дни проходили. И Клеопатра сетовала.

В конце концов, именно от неё пришла идея, которая выведет их из затруднения. Под предлогом, что условия её союза с Римом никогда не были должным образом урегулированы, она предложила сама приехать для обсуждения нескольких спорных пунктов. Для получения титула socius republicæ царице вовсе не обязательно было беспокоить себя; с обеих сторон хватило бы послов; но Сенат был польщен, что она предпочла вести переговоры напрямую с ним, и ответил приглашением. Ход был сделан. Оставалось лишь отправиться в путь. Разве не было предназначением Клеопатры склонять мужчин к принятию её воли?

Июньское солнце сияло. С своим оживленным Форумы, загроможденными окнами, толпой, выстроившейся вдоль главных улиц, Рим казался праздничным. Однако недоверие, а не симпатия, руководило этим волнением. Столько странных историй ходило об ожидаемой путешественнице! Для одних она была некоей куртизанкой, всю усыпанной жемчугом и золотом; для других – колдуньей, чьи чары лишали рассудка тех, кто к ней приближался. Для большинства же Клеопатра была просто чужестранкой, женщиной с Востока, то есть тем, что римский народ презирал больше всего на свете. Когда началось шествие черных рабов с кольцами в ушах, евнухов в длинных, как у женщин, одеждах, министров в густых париках, полуголых солдат, чьи головы в уборах с антеннами походили на крупных насекомых, раздался лишь хохот. Насмешки посыпались при появлении астрономов, чьи остроконечные колпаки угрожали небу, жрецов, облаченных в шкуры пантер; они удвоились при виде знамен с изображениями священных символов. Что! Шакалы! Ястребы! Коровы! И это боги? И латинский здравый смысл возмущался против религии, низведенной до таких эмблем.

Но вот среди блеска копий и щитов появляются царские носилки. Воцаряется тишина; и все взоры устремлены на группу, которую образует Клеопатра с ребенком на руках. На этого ребенка, в котором Александрия винила её, она рассчитывала, чтобы римляне встретили её хорошо, благодаря его милой улыбке и поразительному сходству с Цезарем. Расчет был неплох. Цезарь был в ту пору идолом Рима. Все его поступки одобрялись, и если втихомолку и случалось посмеиваться, обмениваться критическими замечаниями, никто не осмелился бы открыто выступить против тех, кого он пригласил. Однако, сколь бы прекрасна она ни была, царица Египта не могла понравиться населению, упоенному собой и считавшему себя расой, превосходящей другие. С её золотистой кожей, её глазами, удлиненными сурьмой, почти доходящими до висков, её ярко накрашенными губами, странностью её прически, в которую был вплетен золотой змей, её прозрачной туникой, оставляющей грудь обнаженной, особа Клеопатры шокировала, вызывала скандал. Но, поскольку было приказано быть любезными, видели, делали вид, что смотрят лишь на маленького Цезариона, чей светлый цвет лица, живой и глубокий взгляд утверждали его божественное происхождение.

Дабы, впрочем, ясно обозначить положение, которое должна была занимать эта связанная с ним пара, Цезарь поселил её во дворце, который только что выстроил себе на левом берегу Тибра, и добавил к этому пользование великолепными садами, раскинувшимися на склоне Яникула, – тех садов, которые по его завещанию должны были отойти народу и чей щедрый дар на следующий день после его смерти должен был поставить народ на колени в слезах перед его окровавленной тогой.

Оказавшись наконец гостьей Рима, Клеопатра испытывала великое успокоенное удовольствие, следующее за битвами, в которых победила. Несмотря на препятствия, она успешно провела первую часть своего предприятия. Теперь предстояло позаботиться о более трудном –

склонить своего возлюбленного к столь желанному браку, который сделал бы её дважды властительницей. Для женщины, одаренной, как она, и умелой в применении всех своих чар, нельзя было и мечтать о сцене, более подходящей, чем та, куда привела её судьба. Рим в момент её прибытия уже не был суровым городом, где каждый гражданин между своими ларами и своей семьей посвящал себя культу старых установлений. Эти установления, создавшие силу и величие Республики, но также и её варварство, начинали утрачиваться. Религия приходила в упадок. Официально соблюдаемая, она встречала, особенно в высших классах, множество неверующих. Если народ еще хранил страх перед богами, он не упускал случая ни преступать их законы, ни при случае обирать святилища, как тот циничный солдат, который хвастался, что в Армении похитил статую Дианы Анаитиды и на этой добыче составил свое состояние. Неразрывность брака более не существовала. Каждый день видели, как сенаторы, консулы, без даже честного предлога, изгоняли своих жен. Разве сам Цицерон, лучший, самый мягкий из людей, после тридцати лет брака не сказал Теренции жестокие слова развода: «Выйди вон и забери свое», чтобы поставить на её место совсем юную девушку? Беспорядок нравов, повсюду распространенный, смешивал в наслаждении общественные ранги. Скандал без прецедента: на одних из последних игр в цирке видели, как всадники спускались на арену и там скрещивали копья с копьями гладиаторов. Чрезмерные состояния, нажитые на войне, оскорбляли простые привычки прошлого. Золото повсюду утверждало свое царство. Из храмов, где первоначально оно использовалось для украшения, для пышности, его употребление перешло в частные дома: утварь, своды, стены – всё сверкало, всё было позолочено. Как ни протестовал Катон против роскоши своих современников, расхаживая босиком и в разорванной тунике, его пример оставался без последствий. Над ним смеялись, и кавалькады экипажей продолжали колесить. Избавленные от закона Оппия, женщины не знали более границ в роскоши туалетов. Вокруг рук, вплетенные в волосы, даже на обуви, можно было восхищаться изяществами этрусской ювелирной работы, а на их шеях струились самоцветы, которые мореплаватели за большие деньги добывали из глубины индийских пещер. Пиршества, сервировавшиеся на столах богатых патрициев, предвещали лукулловы; серебряная посуда, сосуды с тонкой резьбой, ложа, покрытые пурпуром, могли соперничать с восточными царскими. Умеренность, одним словом, так же как бережливость, выносливость, те суровые добродетели, что отмечали облик древних римлян, переходили в состояние легенды.

Если, однако же, древний уклад рушился, уступая место новой эпохе, которая, несомненно, уступала предыдущей, то надо признать, что от этого необычайно выигрывало удобство жизни. Никогда ещё культура ума и вкус к искусствам не были столь распространены. Со своими философами, статуями и самим языком, на котором выдающиеся люди гордились говорить правильно, Греция возрождалась в Риме. Не было юноши благородного происхождения, который бы не завершал своего образования пребыванием на Родосе, в Аполлонии, особенно в Афинах. Идеи, которые они оттуда привозили, вошли в моду. Вместо того чтобы знание шедевров литературы оставалось привилегией почти исключительно вольноотпущенников, которых профессия писцов заставляла их переписывать, оно проникло в высшие классы. Стало хорошим тоном общаться с интеллектуалами. Многие патрицианские дома считали честью приютить у себя то ученого, то философа, и было желанной новинкой дать услышать у себя сладостные пасторали, лившиеся с уст юного Вергилия, недавно прибывшего из Мантуи, или первые стихи, которые двадцатилетний Гораций начинал ковать на своей медной наковальне, где им предстояло так долго и далеко звучать. Повсюду, наконец, в каком бы месте и из какого бы источника он ни изливался, талант ценился и не оставался без хвалителей.

Клеопатра сразу поняла роль, какую её особа могла играть в обществе, так открытом ко всему новому, оригинальному и обольстительному. Возможно, она была единственной среди всех женщин, кто находился в таком положении, что мог принимать у себя выдающихся мужчин, с какой бы стороны те ни являлись, и поддерживать с ними свободное и приятное обще-

ние. Пуская в ход очарование ума, равного которому не нашлось бы ни у матрон, занятых заботами очага, ни у куртизанок, чьи разговоры были чаще всего легкомысленны и непристойны, разве у неё не было всех шансов на успех? Посреди этого обширного атрия, к которому её личный вкус добавил утончённую роскошь диванов, ковров и ярких драпировок, она начала с того, что пригласила приближённых Цезаря. Счастливый вновь обрести ту, что была последней улыбкой его жизни, император приходил каждый вечер отдыхать рядом с ней от хлопот политики и, в ожидании часа, когда, гибкая и надушенная, она падала в его объятия, любил встречаться с друзьями, беседовать с ними. Самыми усердными посетителями сразу стали Требоний, Лепид, Сульпиций Руф, Курион и другие сенаторы, с которыми он был в общности идей. Вместе обсуждали вопросы дня: средства выполнить обещания, данные солдатам, отмена долгов, отсрочка арендной платы ниже двух тысяч сестерциев, и по этим серьезным вопросам поражались, слыша, как молодая женщина, казалось бы, находившаяся там лишь чтобы озарять атмосферу своими блестящими очами, чтобы очаровывать её звоном колец, сплетавшихся на её руках, подает здравые советы и проявляет во всем проницательный и мудрый взгляд. Не меньшим было удивление, когда её слышали беседующей с историком Саллюстием, чьи сочинения она читала и ценила его едкую психологию, замечания, полные колючей правды; с оратором Азинием Поллионом, которому доставляло удовольствие представлять ей свои речи, равно как и ироничные стишки, где устами пастушек он высмеивал смешные стороны своих сограждан; с Аттиком, археологом, чьими находками она интересовалась, будь то развернутые перед ней тонко раскрашенные листы персидских изображений, будь то восхищение отполированной слоновой костью, обработанной терпеливой рукой какого-нибудь китайца, или фрагменты барельефа, упавшего с храма в Эфесе. И как было не тронуться, видя её, склонившуюся над небесной картой, где съезд ученых трудился над реформой календаря, внимательно следящую за движением Большой Медведицы, Кассиопеи, Ориона вокруг Полярной звезды? Воистину, во всем она была существом исключительным, одним из тех, кого богини, казалось, избрали представлять их на земле.

Именно тогда ей и был представлен молодой, красивый, знаменитый Марк Антоний. Весь покрытый лаврами Мунды, с колесницами, полными добычи, он только что прибыл из Испании. Репутация несравненной храбрости сияла звездой на его челе. С своим торсом атлета, дионисийским смехом, которым он оживлял пиры, расточительностью своих трат, он воплощал фигуру героя, того легендарного Геркулеса, от которого он вел свой род. Хотя в ту пору он был влюблен в куртизанку Кифериду, молодой человек был сильно впечатлен волнующей красотой Клеопатры, и потребовалась вся очень искренняя дружба, связывавшая его с Цезарем, чтобы удержать на его устах слова любви, которые так и рвались наружу. По крайней мере, он никогда не должен был забыть верховной грации, с которой чародейка поднесла ему для поцелуя свою маленькую руку, ни туалета, который на ней был в тот вечер, ни внезапной тоски, охватившей его, когда он слушал её речь, ни одной из подробностей этой первой встречи.

Между тем, пока в святилище искусства и литературы, каковым была вилла на берегу Тибра, страстные поклонники воспевали новую Аспазию, снаружи рычала свора. Она состояла из добродетельных людей, или притворявшихся таковыми, которые негодовали против открытой, принятой, почитаемой связи диктатора. С ними были все женщины высшего общества. Большинство из них, имея повод сетовать на супружеские невзгоды, эти ожесточенные жены объединились и преследовали ревнивой ненавистью восточную женщину свободных нравов, в доме которой толпились мужчины, их покинувшие. Но злейшими врагами Клеопатры были враги политические. Приверженные вековым традициям, консерваторы не могли не тревожиться новыми тенденциями, все более посягавшими на древний дух. Хотя они давно могли заметить склонность, влекшую лично диктатора к единоличной власти, и пышность, которой он любил себя окружать, ответственность за это они возлагали на его царственную любовницу.

Отступал ли он от благочестивых обычаев, от уважения к законам, от всего, чему они себя считали хранителями? – они обвиняли египтянку.

Без её, пожалуй, прямого участия, но несомненно, что Цезарь с каждым днём всё более отдалялся от республиканской формы правления. Без причины, поскольку войны были окончены, он только что продлил свою диктатуру. Абсолютный властитель теперь, он единолично решал все государственные дела, назначал чиновников, раздавал конфискованные земли кому ему было угодно. Где предел его власти? Сам титул царя ничего бы к ней не добавил, и однако все чувствовали, что он жаждет этого титула и ухватится за первую возможность присвоить его. Вместо того чтобы обходиться со своими коллегами с учетом, на которое могли бы законно претендовать бывшие консулы, понтифики, сенаторы, казалось, он находил удовольствие бросать им вызов и публично показывать устарелость их мнений. Своего рода дерзостью, пахнущей великим господином, великим господином, свободным от предрассудков своей касты, он любил высмеивать мораль Катона, ставить всё под сомнение, даже богов. Не дошёл ли он до того, что произнес в полном Сенате, среди других неосторожных слов, следующие, от которых многие пришли в негодование: «Республика отныне – слово, лишенное смысла».

Среди искренне встревоженных людей, во главе их был Цицерон. Великий оратор в ту эпоху мог считаться, после Цезаря, первым гражданином Рима. Он был, во всяком случае, самым честным и одним из наиболее почитаемых. Его либеральные вкусы некогда привязали его к партии Помпея, и после поражения последнего он удалился в свою виллу в Тускулуме и жил там в стороне, в качестве критика. Для Цезаря было очень большим сожалением потерять дружбу этого человека сердца, этого ума, выдающегося среди всех, который был бы для него ценным сотрудником. Воздержание столь значительного человека было не менее чувствительно для гордости Клеопатры. Привлечь его к себе, причислить к числу своих придворных, сделать союзником на тот день, когда придется преступить закон в её пользу, стало для её очаровательного деспотизма настоящей навязчивой идеей.

Она открылась Аттику, которого тесная дружба связывала с Цицероном. Очень привязанный к царице, чье роскошное гостеприимство он ценил, этот любезный эпикуреец взялся уговорить своего друга. Никто лучше него не подходил для роли посла. Сближать, объединять, убеждать – соответствовало его примирительному характеру. Без сомнения, ему помогло в его миссии и тоска, в которой томился Цицерон. Для того, кто познал упоение властью, для того, кого приветствовали так, что колонны дрожали, суровым испытанием является уединение. Постоянно слыша, как расхваливают приятность круга, куда его хотели привести, почести, которые его там ждали, и особенно – ибо он обожал книги – великолепие тех, что принадлежали Клеопатре и были бы в его распоряжении, человек литературы позволил себя соблазнить. Когда он появился на пороге, украшенном мозаикой, изображавшей Орфея, играющего на флейте, величественно задрапированный в тогу, чьи складки на плече никто не умел располагать лучше него, Цезарь поспешил ему навстречу.

Сияющая, как всегда, когда её каприз побеждал, Клеопатра приняла своего гостя самым лестным образом. С первого же вечера она представила его взору всё, что могло в её богатом жилище очаровать утонченный вкус. На столе были приготовлены древние пергаменты, где, украшенные любопытными изображениями, была начертана история Фараонов. Оратор своими тонкими пальцами разворачивал пожелтевшие листы, и, пока он восклицал, удивляясь странности фигур, составляющих египетское письмо, своим музыкальным и учтивым голосом царица объясняла ему их смысл. Видя его внимательным, очарованным, она решила, что окончательно покорила его, и пообещала, что на следующий день драгоценные свитки будут перевезены в Тускулум.

Однако, сознание такого уровня, как у Цицерона, не должно было так легко поддаваться обольщению. Если по некоторым залогам, данным консервативной партии, он мог на мгновение поверить, что Цезарь вернется к либеральным идеям, то учащение в последнее время про-

извольных действий не оставляло ему более иллюзий. Без сомнения, падение Республики ускорялось; и нигде великий патриот не дышал атмосферой, более чуждой тому, что было страстью его жизни, чем в атрии на Затибрье. Мало-помалу он перестал там бывать. Чувствуя себя then более свободным, чтобы вынести суждение, намекая, без сомнения, на гостей всякого рода, энергичных, но часто грубых, которых заботы о своей популярности иногда приводили туда Цезаря, он ответил Аттику, спрашивавшему о причинах его отдаления: «Я не могу чувствовать себя хорошо в месте, лишенном учтивости».

Это отдаление и некоторые другие в его окружении не могли не беспокоить Цезаря. Он почувствовал не необходимость уступок, как она бы представилась уму менее смелому, чем его, но необходимость утвердить свою власть каким-нибудь блистательным действием. Чтобы достичь вершины, на которую он метил, старые средства были устаревшими; требовались новые подвиги, новые войны, нечто чудесное, превосходящее всё, что было совершено.

То, что в тот момент привлекало его предприимчивый гений, наполняло самыми заманчивыми видениями, была Персия, та Персия, по которой пронеслись походы Александра. С её бесконечными территориями, высокими плато, где пасся спокойный скот, долинами, омываемыми легендарными водами Тигра и Евфрата; с её висячими садами, порфировыми дворцами, храмами, поддерживаемыми антропоморфными колоннами; с её чудесными коврами, розами, фаянсами, это химерическое царство манило его, звало неотразимым зовом. Какая разница с бедной, варварской Галлией! Если ему удастся водрузить там своих орлов, это будет не только слава, слава, равняющая его с великим македонским завоевателем, но и неистощимые богатства.

Еще более, чем он, Клеопатра горела pursuit этой прекрасной мечты. Не обольщаясь насчет чувств, которые она вызывала, она знала, что может рассчитывать на навязывание себя суровой римской аристократии лишь благодаря могуществу Цезаря. Увеличить thus это могущество, направить его на Восток, где оно соединится с её собственным, сделать его таким высоким пьедесталом, чтобы оттуда её чело сияло в глазах всей вселенной, – такова была тактика молодой властительницы. И потому, как бы ни было ей тяжело покинуть дворец, где она невозмутимо играла свою роль великой римской дамы, и отправиться в Египет к тому статисту, которого дали ей в мужья, она стала готовиться к отъезду.

Для всех не было секретом, что по возвращении из дальнего похода император женится на ней и усыновит сына, которого имел от неё. Некоторые даже утверждали, что к верховной власти, уже уподоблявшей его монарху, он тогда добавит скипетр, и что его замысел – основать огромную империю, столицей которой будет Александрия. Эти утверждения раздражали народ, задевали его в самом дорогом: в верховенстве его Города. Угрожать ему разделом, упадком – значило поднимать в нем ветер худшего гнева. Как всегда, ответственность за эти проекты была возложена на Клеопатру. Ненависть к ней удвоилась. Чтобы разжечь её, её враги выдумали и повсюду разнесли, что она подкрепляет свои клятвы такой формулой: «Да сбудется это, как то, что я буду однажды царствовать на Капитолии». Тогда умы не сдержались более. Оскорбления, прежде робкие, стали публичными. Её носилки не пересекали более улицы без того, чтобы люди не расступались. Говорили уже ни больше ни меньше как об изгнании египтянки, о принуждении её вернуться в её страну крокодилов.

Эти дурные речи дошли до ушей Цезаря. Он показался более оскорбленным ими, чем теми, что касались его самого. Тронуть ту, которую он избрал! Произносить о ней непочтительные слова! Он не потерпит этого. И, намекая на группу, которую ему особенно указали, сказал: «Увидите, какой урок я преподам этим толстым, завитым клеветникам».

Немедленно он призвал Тимохара, который уже месяц работал над золото-слоновой костяной статуей царицы.

– Сколько времени тебе нужно, чтобы закончить твоё произведение?

Скульптор подумал, подсчитал, что инкрустации, которыми она должна была быть украшена, еще не начаты, и робко ответил:

– По меньшей мере, две декады.

– Я даю тебе три дня, – заявил диктатор. – Через три дня я хочу, чтобы на своей стеле статуя была помещена в храм Венеры-Прародительницы.

Слишком хорошо знали самовластие Цезаря, чьи приступы, впрочем, соответствовали расстройствам хрупкой и переутомленной нервной системы, чтобы оказать малейшее сопротивление. Церемония открытия состоялась в назначенный день, с большой пышностью, и, с яростью в сердце, жрецы, аристократы, чиновники всех рангов должны были склониться перед новой богиней, пришедшей вторгнуться в их храм.

Вскоре после этого, словно решив испытать, до каких пределов можно бросать вызов общественному мнению, диктатор задумал новый эксперимент. Были дни Луперкалий, некоего карнавала, во время которого молодые патриции, полуголые, бегали, шутливо ударяя прохожих ремнями из козьей кожи, под предлогом принесения им удачи. В качестве великого понтифика Цезарь председательствовал. Сидя на трибуне, на золотом курульном кресле, он имел Клеопатру рядом с собой. После того как земля была окроплена кровью козла и собаки, как того требовали обряды празднества, он собирался удалиться, когда Антоний, рассекая толпу, смело подал ему диадему. При этом жесте поднялся ропот, подобный морскому, когда готовится буря. Цезарь почувствовал, что момент неподходящий, и отвернулся. Но, ободренный царицей, которая, возможно, даже была вдохновительницей этой комедии, Антоний с настойчивостью заставлял корону сверкать. Ропот усилился, теперь это было словно ветер врывался в волны. Время определенно еще не пришло. Еще более решительным жестом, чем первый, жестом, на этот раз не оставлявшим никаких сомнений, Цезарь откинул голову назад и оттолкнул соблазнительную драгоценность. Все были свидетелями: он отказывался быть царем.

Многие среди зрителей, одураченные только что разыгранной сценой, неистово приветствовали. Другие, более проницательные, уловив понимающие взгляды, говорили друг другу: «Да, без сомнения, он отказывается сегодня, но это для того, чтобы лучше принять, когда вернется, обремененный победными знаменами».

И в тени сформировалась партия заговорщиков.

Стояла середина месяца, посвященного богу войны. Весна была близка. Гонимыми быстрыми порывами, маленькие серые облака бежали по нежной лазури. Трепещущие деревья набухали, и склоны семи холмов начинали зеленеть. У их подножия Город затихал в бледных сумерках. Уличная жизнь замедлялась, повсюду воцарялась тишина. Это был час, когда каждый, закончив свои дела, возвращался в свое жилище; это был час, когда Цезарь, поглощенный весь день военными приготовлениями, спешил к радости встречи со своей прекрасной возлюбленной.

Облокотившись на окно, откуда она увидит его возвращающимся, Клеопатра размышляет. Еще несколько дней – и они будут разлучены. Пока он будет совершать за Каспийскими воротами завоевания, что являются уделом великих вождей, она вернется на Нил. Эта разлука тревожит её, ставит перед страшным одиночеством и темными трудностями. Однако она смиряется с ней, ибо знает её неизбежной. Разве слава не необходима государям, как хлеб – плебсу? Победитель персов, Цезарь будет бесспорным властелином. Ничто, никакая человеческая сила не сможет более противиться осуществлению их планов. Он возведет её на троны Ниневии, Вавилона, провозгласит своей супругой. Вместе они взойдут на Капитолий, и этот самый Рим, который она слышала рычащим на её пути, как злая волчица, будет вынужден приветствовать её.

На эти грандиозные виды, на эту мечту Семирамиды и обрушился ужасно удар грока Мартовских Ид. Утро только начиналось. Едва час прошел с тех пор, как Цезарь, покидая её, прижал к сердцу ту, с кей он не хотел бы никогда разлучаться. Одним из тех таинствен-

ных предостережений, что иногда звучат в решительные минуты и которые всегда следует слушать, она попыталась удержать его. – «Зачем вставать так рано? Ты жаловался на недомогание. Останься, отдохни». Но его ждали. Даже опасаясь, как бы он не замедлил, Брут послал Кассия ему навстречу, и тот, без тени волнения на лице предателя, объяснил, что нужно спешить, что дел в это утро в Сенате много.

Именно там свершится преступление. Внезапный шум ударяет о стены. Прохожие останавливаются, спрашивают друг друга. Что происходит? Вскоре видят, как портик наполняется бледными лицами. Разражается ужасная весть: Цезарь только что убит. Со всех сторон поднимаются вопли; но они заглушаются кликом убийц, которые, с кинжалами в руках, появляются с криком: «Мы отомстили за Республику».

В ужасе, не зная, чему верить, народ рассеивается с быстротой реки, прорвавшей плотины, он разливается из конца в конец Города. Ужасная весть в мгновение ока достигает самых отдаленных кварталов. Она несет туда беспорядок, смятение. Повсюду закрываются лавки; каждый прячет свою тревогу за ставнями своего дома. Чувствуется, что на Рим обрушилось immense несчастье и что другие, многие другие, вслед за ним, ринутся.

Для Клеопатры это – крушение. Перед её глазами разверзлась одна из тех бездн, где, кажется, всё рушится, всё поглощается. Вселенная опустела. Она воздевает руки к небу, умоляет, отчаивается. Возможно ли такое бедствие? Никто, ничто не отвечает ей. В часы бедствий, увы! – лишь молчание.

Между тем вооруженные bandes рыщут по берегам Тибра, размахивая на палке пилеем, символом свободы. Под царскими окнами они останавливаются. Оскорбительные крики оскверняют весеннее утро. «Долой египтянку! Смерть! Смерть!» – вопят голоса, те самые голоса, всегда одинаковые, в какую бы эпоху, на каком бы наречии они ни звучали, что слышны в дни революций. Несколько слуг окружают царицу и готовы защищать её; но их смятение таково, что, в действительности, нельзя ждать от них никакой помощи.

Лишь Аполлодор, чья твердость никогда не изменяет в трудные мгновения, говорит властно:

– Нужно уехать, немедленно покинуть этот залитый кровью город.

Характер Клеопатры не таков, чтобы уступать угрозам. Она восстает. Её мнение – дать отпор. Возможно, ещё не всё потеряно. У Цезаря будут мстители. Только что сообщили, что организуется партия, во главе которой стоит Антоний. Он любил покойного; его дружба не может не уважать его воли, не признать Цезариона сыном, наследником…

Иллюзия! Иллюзия, которая, упорствуя, может стать роковой. В царящем смятении жизнь ребенка не более в безопасности, чем жизнь матери. Глумления удваиваются. Остается лишь последовать совету Аполлодора. Его изобретательная преданность всё подготовила для бегства. Через сады, под густыми покрывалами, окруженная западнями, как четырьмя годами ранее, когда её преследуемая юность шла предложить себя Цезарю, Клеопатра покидает Рим. Временами, на дороге, ей кажется, что она содрогается от тоски. Ей чудится, что земля уходит из-под ног. Ужас! Отчаяние! О, чувствовать себя одинокой, когда спутником был властелин мира! Эта мысль заставляет её слабеть. Однако у её груди покоится маленькая головка, в которой угадываются черты великого человека. Она прижимает её крепче, приникает к ней губами. Нет! Не всё потеряно. Надежды могут возродиться.

2. Александрия.

Прошло два года с тех пор, как Клеопатра, вернувшаяся в свою столицу совершенно разбитой после краха Мартовских Ид, следила за гражданской войной, раздиравшей римский мир. Эта ожесточенная борьба, которая то давала перевес убийцам Цезаря, то возвращала его мстителям, заставляла ее переживать суровые перемены. Волнение, которое она испытывала, было не только душевным. К сожалению о великом человеке, который страстно ее любил, к желанию увидеть чудовищное убийство отомщенным примешивались серьезные политические заботы. Уже около века Египет стал неуправляемым. Неспокойный, развращенный, кровожадный, он казался теперь лишь добычей для многочисленных претендентов, оспаривавших друг у друга его трон. Чтобы удержаться на нем, чтобы использовать великолепные ресурсы своей земли, чтобы справиться с шайками пиратов, дезертиров, изгнанников, каторжников, нарушивших запрет, из которых в значительной степени состояла армия, требовалась власть, которой Лагиды уже не располагали. Неспособные ни на малейшее усилие, эти дилетанты привыкли при каждом новом восстании звать Рим себе на помощь. Птолемей Авлет вернул себе корону лишь ценой золота, розданного сенаторам, а что до Клеопатры, мы знаем, какие события возвратили ей ее трон.

Если восстановленный ею мир казался благодетельным, если люди хвалили вернувшееся некоторое процветание, многие сожалели, что оно куплено ценой скандала и союза, который со дня на день мог превратиться в господство. Оставшись так одинокой, окруженной противодействиями, кознями, лишенной легионов, которые были отозваны у нее для нужд войны, царица переживала дни полной подавленности. Особенно тяжело ей было, когда министры являлись с докладом то о опустошениях, причиненных эпидемией чумы, столь ужасной, что бальзамировщики не справлялись более с работой и мертвые тела разлагались на улицах; то о голоде, который вот уже два сезона опустошал страну; или же о хищениях жадной и бессовестной бюрократии; словом, о всех тех заботах, которые каждый день рождаются и вновь возрождаются в нелегком ремесле правления. Она вздыхала, вспоминая времена, когда любовь великого человека избавляла ее от забот, когда ей стоило лишь поднять свой жезл из слоновой кости, чтобы все ее желания немедленно исполнялись.

Что осталось теперь от прежнего союза? Скорее уж Рим нуждался в том, чтобы ссылаться на него. Он так и делал, и, в смятении, которое его охватило, обе враждующие фракции поочередно умоляли о помощи египетский флот. Если Клеопатра не откликнулась на этот призыв, так лишь потому, что она задавалась вопросом: кого слушать? Какой партии завтра будет принадлежать Республика? Если бы победили заговорщики, было очевидно, что потерявшее опору царство Египетское, подобно Элладе, Сирии, Галлии и Испании, Мавретании, войдет в средиземноморский круг порабощенных провинций; от другой же партии, напротив, она могла ожидать снисхождения. Разве возможно, чтобы люди, друзья Цезаря, называющие себя продолжателями его дела, не позаботились о той, кого диктатор уже называл своей супругой? И о ребенке, на которого природа наложила его черты? Но кто же будет хозяевами положения? От этих размышлений у Клеопатры расшатывались нервы; и какова же была ее тревога в начале осени, когда она узнала, что армии Кассия заняли в Македонии очень сильные позиции? Затем пришла зима с ее туманами и бурями, судоходство прекратилось, и теперь не было никаких известий.

Вид Александрии, полный для молодой женщины воспоминаний и страхов, погружал ее в долгие раздумья. Это была всегда полная чаша, из которой пили ее мысли. Часто, в час, когда горизонт загорается, когда волшебство заката льет багровые отсветы, она поднималась на одну из террас, которыми были устроены фасады Брухиона, и созерцала золотой город. Как прекрасна была она так, под своим огненным небом, на краю своего золотистого берега,

охраняемая ночью гигантским факелом своего маяка! Как разбогатела она с тех пор, как великий основатель наметил ее план и очертил ее стены в форме македонской хламиды! Повелительница такого города могла гордиться. Куда бы ни обратился взгляд, всюду были лишь мраморы, купола из эмали или фаянса, триумфальные арки, благородно очерченные фронтоны. На вершине холмика – Панейон, прозванный в шутку Клеткой Муз. Именно там, согласно древней традиции, которой Лагиды твердо придерживались, поэты, музыканты, живописцы и скульпторы, к какой бы нации они ни принадлежали, находили, – если только они были мастерами своего искусства и нравились дочерям Аполлона, – широкое гостеприимство. В центре своей колоннады – Библиотека, все еще богатая, – после ужасного пожара, – семьюстами тысячами свитков и хранящая, среди прочих ценных трудов, первый перевод Библии на греческий, выполненный Семидесятью Толковниками. Неподалеку, словно чтобы легче получать духовную пищу, теснятся многочисленные здания Серапеума. Очаг истории и философии, медицины, астрономии, математики, равно как и хранилище текстов, этот знаменитый университет, которому мы спустя две тысячи лет обязаны сохранением того, что уцелело сегодня от греческой литературы, был подлинно светом мира. Обучение, которое там получали, имена ученых профессоров, ученость методов, точные инструменты и даже папирус, предоставленный в распоряжение тружеников, пользовались такой славой, что из Рима, Афин, даже из Азии стекались в его стены, и богатые семьи всех стран, полагая, что у кого-либо из их детей есть некие исключительные способности, желали, чтобы этот ребенок был отмечен блистательной печатью – быть учеником Александрии.

Взгляд Клеопатры продолжает блуждать по длинным, широким прямым проспектам, где свободно движутся колесницы, носилки, конные всадники. Он останавливается на цирках, театрах, гимнасиях, перед которыми толпится множество народа, привлеченного афишами; на стадионе с его извилистой беговой дорожкой; на ипподроме, столь обширном, что двадцать тысяч зрителей едва могут его заполнить; на многочисленных и особенно великолепных храмах, которые возвышаются над домами, господствуют над ними своей таинственной массой, и – дольше, с благоговением – на Соме, этом мавзолее, где в саркофаге из хрусталя покоится тело героического предка, возвращенное на родину.

Все эти камни, все эти богатства царица оценивает с тревожной гордостью, спрашивая себя: будут ли они завтра моими? И за пределами видимого пространства ее мысль продолжает перечисление великолепного наследства; она думает о неистощимой долине, орошаемой божественной рекой, о тридцати тысячах городов, которые с севера на юг возводят там свои вековые стены, о Бубасте, где царствует богиня любви, о Мемфисе, спящем у подножия своих пирамид, о священных Фивах, о Гермонтисе, прозванном Славой двух горизонтов, о Эдфу, где хранятся древнейшие сокровища. Еще дальше ее взор достигает южных областей, производящих гранит и ароматы, легендарных виноградников, каждая гроздь которых так тяжела, что двое мужчин едва могут донести ее до давильни. Он достигает счастливого острова, где благоуханные тропинки хранят следы ее шагов, соединенных с шагами ее возлюбленного, и, вернувшись к доверию, она говорит себе: Нет, Египет! Милый Египет! Земля Осириса и Ра, ты, что наполняешь житницы мира и благочестиво хранишь своих мертвых! Сад пальм и виноградных лоз! Берег, куда приходят пить ибисы, ты не познаешь рабства!

Она была права; всегда правы те, кто надеется. Спасение было уже в пути. Решительная победа только что была одержана армиями цезарианцев. Сбежавшие с Наксоса пираты принесли эту новость. Брут, а за ним и Кассий, были разгромлены на равнинах Филипп, и оба, пронзив себя тем клинком, который их святотатственные руки с отвращением погрузили в кровь их благодетеля, свершили над собой правосудие.

Клеопатра вздохнула свободнее. Ее жизнь, омраченная с роковой даты, вновь обретала немного красок. Все еще покрытое туманом, будущее больше не было той непроницаемой массой, в которой ничего нельзя различить. Некое согласие устанавливалось между ним и про-

шлым. Рим выходил из тьмы. Избавленный от смутьянов, он, возможно, снова станет надежным союзником. В ожидании этого, верная традиции своих отцов, которые тратили состояния на увеселение народа, царица приказала устроить большие, дорогостоящие празднества, и прежде всего – религиозные церемонии, сопровождаемые жертвоприношениями. Разве не следовало начать с вознесения благодарностей богам, руками которых преступление только что было наказано?

Любой повод для празднества был хорош для александрийцев. Если их город сиял интеллектом, если знаменитые ученые ежедневно экспериментировали и излагали свои доктрины, он был также и местом всевозможных упоений, местом, где жилось приятнее и веселее всего. Огромные состояния, которые там были нажиты, которые торговля там создавала и приумножала каждый день, развили роскошь до невообразимой степени. Для наслаждения во всех его формах – пиры, танцы, скачки, театры, оргии вина или любви – у нее не было равных.

Слава об этих александрийских празднествах распространилась повсюду. Как только их объявляли, из Бубаста и Пелузия, часто даже с сирийских или сицилийских берегов, стекались безумные ватаги и смешивались с населением. С рассвета, как на широких променадах нового квартала, так и в переплетенных улочях старого Ракотиса, кишмя кишела шумная толпа. Уже по одной пестроте одежд, лицам всех цветов – смуглым или светлым, оливковым или золотистым – чувствовалось, что ты попал в настоящий космополитический хаос. С оживлением ее двойного порта, переполненного всем самым красивым, самым богатым, что есть от Геркулесовых столпов до устьев Инда, с ее зрелищами, ее музеями, ее сказочным Нилом, по которому и днем и ночью сновали убранные цветами лодки, с ее первобытными излишествами, к которым эллинская культура добавила все виды утонченности, – какое любопытство, в самом деле, не могла привлечь эта блистательная метрополия? Так, рядом с туземцем, у которого высокие плечи и бока, стянутые яркой полосатой набедренной повязкой, и который гонит перед собой ослика, навьюченного бурдюками, или ведет повозку с зерном, рядом с загорелым, прокаленным моряком, тащащим свои сети, с солдатом, чья прекрасная выправка заставляет прохожих оборачиваться, встречались образчики всех рас. В действительности же, больше всего было греков, узнаваемых под паллием по их гибкой, атлетической фигуре, римлян с бронзовыми личинами, галлов, чьи голубые глаза и туники из шерсти, стянутые в талии, контрастировали с тяжелыми зрачками азиатов и их расписными robes, волочащимися в пыли. Еще легче, чем мужчин, можно было узнать происхождение женщин по причудливости их причесок: одни распускали волосы свободно, другие завивали их в спирали по обеим сторонам щек, или же, как девы Эфеса, усеивали их золотыми шпильками, цветами и листьями. Множество кочевников, обычно обретавшихся на окраинах, также увеличивали давку, ибо полиция получила приказ быть в этот день снисходительной. За исключением Царского Пути, исключительно предназначенного для официальных процессий, она свободно пропускала арабов, ведущих за веревку, продетую в кольцо носа, одного или нескольких верблюдов, которые возвышались над толпой с видом полным достоинства; евреев, которые под своими потертыми черными кафтанами прятали мешки с монетой; эфиопов, кафров, чьи курчавые головы балансировали, никогда не теряя равновесия, корзины, нагруженные фигами и цедратами. Среди этой толкотни встречались и беззаботные маленькие работницы, которые ходили парами, останавливаясь послушать зазывания колдунов, посмотреть на акробатов, которые, стоя вниз головой, глотали клинки кинжалов, или на жонглеров, которые метались, проворные и легкие, среди языков пламени, взвивавшихся вокруг них. Особенно же там было видно праздных зевак, бродивших без цели, детей, рисковавших быть раздавленными, и даже великосветских дам, которых забавляло уличное зрелище и которые, сойдя со своих носилок, заставляли рабов следовать за собой, внимательно следя, чтобы их не толкали.

Толкались, сжимались все, и все ужасно, если верить красочному рассказу, который оставил Феокрит об одном из таких народных дней, где он выводит двух молодых сиракузянок.

Одна из них, Горго, пришла за своей подругой. Она появляется вся запыхавшаяся:

– О, Праксиноя! скорее стул; положи на него подушку. Как же бьется мое сердце! Я боялась, что больше тебя не увижу. Ты живешь так далеко! И какая толпа на пути!

Праксиноя слушает ее, пока прихорашивается. Через свою служанку Эвною она велела принести воды, мыло и ключ от своего большого сундука. Она достает оттуда платье, шляпку, наряжается кокетливо.

ГОРГО.

Как идет тебе это платье с длинными складками! Оно очень дорогое обошлось?

ПРАКСИНОЯ.

Ах, не напоминай мне! Больше двух мин чистого серебра, не считая времени, потраченного на шитье.

После нескольких жалоб на своих мужей и наставлений фригиянке, чтобы в их отсутствие она присмотрела за ребенком и заперла собаку, молодые женщины пускаются в путь. Едва выйдя из дома, Праксиноя восклицает:

– Какая толчея, великие боги! Что с нами будет? Как пробиться? А вот и солдаты! Всадники! А я так боюсь лошадей… Горго! Глянь на этого гнедого, что встал на дыбы!

ГОРГО.

Успокойся; вот он уже вернулся в строй.

И они продолжают продвигаться вперед среди огромного стада людей. Но чувствительная Праксиноя совсем от этого ошеломлена:

– Дай мне руку, – говорит она Горго, – а ты, Эвноя, возьми руку Эвтихиды. Держимся крепче, как бы не потерять друг друга.

Несмотря на эти предосторожности, толпа вскоре разлучает гуляющих.

– Несчастная я! – восклицает Праксиноя. В довершение всего ее платье, ее красивое плиссированное платье, зацепилось под ногами прохожего.

Она резко окликает его:

– Ради Зевса! Смотри под ноги, если не хочешь, чтобы…

Но прохожий – добряк. Вместо того чтобы рассердиться, он извиняется, потом помогает ей выпутаться из беды.

– Мужайся, женщина! Вот ты и вне опасности.

Со всей благодарностью души, еще не оправившейся от страха, Праксиноя благодарит его.

– Сострадательный незнакомец! Да будут твои заботы вознаграждены, и да будешь ты защищен от всякого зла.

Воссоединившись, подруги падают друг другу в объятия:

– Как же я тебя искала, Горго!

– И я тебя, Праксиноя!

Они рассказывают друг другу о своих злоключениях:

ПРАКСИНОЯ.

Смотри, все платье разорвано.

ГОРГО.

А у меня – плащ. Что скажет мой муж?

И, крепко взявшись под руки, они продолжают свой путь в сторону Брухия, где готовятся пиршества.

– Это еще далеко? – спрашивают они у встречной старухи.

– Увы, да, детки мои.

– Но по крайней мере, можно легко пробраться внутрь?

Старушка, читавшая Гомера, поддразнивает их:

– С большим трудом греки вошли в Трою. Приложив усилия, мои красавицы, вы, возможно, и достигнете своей цели.

Внезапно раздается фанфара. Это сигнал к началу процессий. Торжественные, бесконечные, они движутся вперед, предшествуемые музыкантами: полуголыми кимвалистами, ударяющими друг о друга дисками, сверкающими, как солнце; игроками на систрах, чьи резкие движения потряхивают кольцами, нанизанными на металлические стержни; барабанщиками, бьющими палочками из сикоморы по натянутой ослиной коже круглых барабанов, висящих у них на шее.

Через некоторый промежуток, дабы ясно обозначить дистанцию, отделяющую их от всего merely человеческого, появляется жреческое шествие. Его открывают неокоры, простые хранители храма, и на них уже возникает начаток безмолвия, затем, посреди благоговения, возрастающего с повышением чина иерархии, проходят гороскопы, призванные толковать предзнаменования; иерограмматы, ученые читатели иероглифов; пророки с длинными бородами, воскуряющие в маленьких бронзовых чашечках зерна ладана; пастофоры, чьей привилегией является являть восхищенному взору верующих божественные изваяния. Вознося золоченые древки, одни покачивают штандарты, на которых они изображены; другие сопровождают их на колесницах, и во всеобщем экстазе, перед широко раскрытыми и застывшими глазами, проходят таинственные образы Аписа, Коровы Хатор, гримасничающего Тота, Гора с личиной сокола, Анубиса – стража смерти, в которых воплощаются неведомые силы. На их пути раздаются завывания и крики, ибо каждый верит в силу этой слепой материи, каждый вкладывает в ее призыв головокружительную силу.

Между двумя шеренгами солдат наконец выступает верховный жрец. Он очень стар и опирается на посох. Длинное покрывало гиацинтового цвета скрывает его руки и лицо, которое ни один непосвященный взор не имеет права созерцать. Только он один допущен к общению с богом, который его устами вскоре возвестит оракул. За ним следуют жрицы, молодые, чистые, полностью облаченные в белое, чьи тонкие пальцы покачивают стебель лотоса. Затем идут прорицатели с колеблющимися факелами; потрясатели погремушек; птицеловы, удерживающие на палках, обмазанных клеем, священных кур; далее – нищие, выставляющие напоказ свои увечья; продавцы благочестивых изображений, скарабеев, амулетов – неизбежная торгашеская свита, которую тянет за собой божественное, захваченное людьми. И все эти разнородные существа, эта движущаяся смесь рас, страстей, разнообразных интересов, тем не менее, движутся в порядке, идут единодушным шагом к завораживающей цели, которая там, наверху, в лазури, сияющая и священная, влечет к себе все взоры: храм Сераписа.

Построенный по образцу древних театиров, этот храм, в котором слились все культы, был самым прославленным в Египте. Значительные средства, выделявшиеся на его содержание, постоянно шли на расширение, и его массив, сравнимый с массами самых знаменитых памятников, уступал лишь римскому Капитолию. К нему вели сто ступеней. К нему поднимались по сотне ступеней. Его порог, охраняемый рядом сфинксов, имел внушительную ширину, а по бокам его пилоны, выкрашенные в желтый и киноварный цвет, были украшены легкими, словно дыхание, знаменами.

По мере того как они завершали свое восхождение, различные коллегии выстраивались вдоль портиков. Некоторые занимали свободное пространство между колоннами, и так, малопомалу, архитектура наполнялась, оживлялась человеческими формами, которые в своей неподвижности напоминали собрание статуй.

Внезапно пронеслось волнение. Взгляды устремились к точке, сверкавшей наверху ступеней. «Царица!» – возгласил голос герольда. Действительно, окруженная сверкающей стражей, на пути, казалось, к самому небу, на паланкине несли Клеопатру. Видя ее столь чистой, в серебряном чехле, облегавшем ее, как идола, с сомкнутыми коленями, локтями, прижатыми к телу, и взором, устремленным в надземные сферы, уже почти не вспоминали о том, что о ней

рассказывали хроники. Она была больше не женщиной, но августейшей дочерью царей; жрицей, которая через мгновение войдет к богу. Четыре риптариола размахивали над ее головой огромными опахалами из павлиньих перьев, а у ее ног, подобно длинной расшитой подушке, растянулась пантера.

Пока у входа в храм иеродулы занимались закланием жертв, чьи дымящиеся горячие внутренности дымились на холмике, молодой аэд, склонив кифару на плечо и сотворив три коленопреклонения, запел хвалу царице: Твои волосы – благоуханное растение. Твои руки – пальмы любви. Твое чело подобно луне, выходящей из ночи. Твои большие глаза с блестящими ресницами – две летние ласточки. Твои зубы светлы, как ручей, текущий между берегами, усыпанными розами и пионами. И после каждого стиха хор девственниц выводил этот припев: Привет тебе, сияющая! Возлюбленная дочь Амона-Ра!

Настал момент всесожжений. Стоя теперь, облаченная в исский плащ белизны пшеницы, в сопровождении понтификов и высших сановников, Клеопатра переступила порог храма, и огромная дверь, на которой, страшная для воображения, стоял гранитный цербер с тройной головой волка, шакала и льва, затворилась. В самой дальней глубине, за исполинскими колоннами, покрытыми иероглифами, повествовавшими о судьбах человеческой души, восседал Серапис из мрамора и золота. Высшее начало, в котором сливались и древний Кронос, и Зевс греков, и Юпитер латинян, Серапис был подлинно национальным Богом. Ему приписывались все силы. От него египтяне ожидали славы, здоровья, богатства и даже того разлива Нила, который был предметом их самых пламенных молитв. Его рост втрое превосходил человеческий, и на чертах его лежала serene величавость. Обильная и гладкая, борода его ниспадала до колен; пшент царей венчал его чело; его руки, широко простертые в жесте, обънимающем, казалось, вселенную, почти касались богато инкрустированных стен наоса. Благодаря искусно рассчитанному эффекту, свет, лившийся сверху, падал на его эмалевые уста, и от этого единственного луча, от этого таинственного поцелуя неба в глазах верующих рождалась иллюзия речи.

Перед колоссальным изваянием воздвигнут жертвенник. На его широкой окружности вырезаны сложные знаки зодиака. Зажженное масло потрескивает в центре, и в драгоценных сосудах, рядом с кровью жертв, покоятся вино и пшеница, вода Нила и семь благовоний, угодных богу. Пока великий жрец, склонившись к пламени, возливает приношения и огонь пожирает их, царица простерта ниц. Она льстит, она умоляет: О, Прекрасный Бог! Бог всемогущий, коему стихии повинуются, будь благосклонен к мольбам моим! Освободи недвижные воды! Дабы их изобилие, переливаясь через берега, вернуло Египту богатство его! Не попущай более, дабы крамола вносила смуту в селения его, ни дабы внешний враг приходил похитить стада его! Да придет к нему в союз народ сильный и принесет ему помощь пехотинцев, вооруженных стрелами, и всадников, блистающих под бронзой!

Поглощенные тем таинственным и важным, что происходило там наверху, все сердца трепетали. Знало, что это миг, когда определяются судьбы; и, словно обладая единой душой, единым голосом, толпа соединялась с молитвами своих представителей. Движимая несокрушимой верой, она повторяла syllables моления: О, Прекрасный Бог! Бог всемогущий, коему стихии повинуются, освободи недвижные воды!

Дымы рассеялись, кедровые врата вновь распахнулись, и царица наконец показалась. Она была вся бледна. Под сверкающими ожерельями видно было, как волнуется ее грудь. Ее расширенные глаза смотрели вдаль, поверх земных вещей, в пророческую сферу, в которую она только что проникла. Что она видела? Что слышала? Какие oracle передал ей великий жрец от ее беседы с богом? Три трубных звука возвестили, что она будет говорить. Она вышла на край верхней ступени, и ее голос, чистый, как песнь флейты, произнес такие слова:

– Да будет прославлено имя Сераписа! Его милость с нами. Он обещает Египту славу и процветание. На ваши посевы Нил прострет свои благотворные воды, и колосья нальются.

Поднялся immenses ликующий cry. Можно было подумать, что из тысяч собравшихся там грудей внезапно поднялся ураган. Все рты кричали. В едином фанатизме, с безумной благодарностью, словно чудо уже начало свершаться, изливались благословения.

Жестом, подобным жесту Посейдона, усмиряющего волны, царица потребовала тишины. То, что она должна была сказать, еще не было закончено.

– Благость Сераписа, – промолвила она, – превосходит наши чаяния. Он любит Египет, он желает ему блеска, величия. От его имени грядет воин, чей меч не ведает поражения.

Новый порыв энтузиазма вырвался наружу, и на сей раз ничто уже не могло его унять. Это было всеобщее исступление, устремление к радости, к тому великому неведомому счастью, которое народы и люди всегда ждут от завтрашнего дня.

Паланкин приблизился. Царица легко взошла на скамеечку с тремя ступенями из слоновой кости, и затем, между опахалами, мягко склоненными над ее головой, и уснувшей пантерой, которую касались ее милые ноги, она отправилась обратно во дворец. Крики, пальмовые ветви и цветы сопровождали ее шествие, но она, казалось, ничего не видела. Погруженная в свой внутренний мир, она размышляла. Как ни маловерен был ее дух, она была впечатлена словами, произнесенными великим жрецом. Придет ли воин действительно? И, еще более тревожная, она размышляла: кто же он будет? Одно имя властно приходило ей на ум. С странной настойчивостью образы прошлого возвращались в ее память. Ее преследовали почти забытые детали. Был вечер, скоро три года тому назад, на вилле на берегу Тибра. Беседа между Цезарем и Требонием была сухой. Обсуждался вопрос, созывать ли комиции или обойтись без их участия. Вдруг дверь отворилась, и в нее вошел Марк Антоний. Это сама жизнь входила! Он смеется; волосы густой копной падают на лоб; его плечи, сложенные по мерке его предка Геркулеса, достаточно сильны, чтобы нести и им Немейского льва. С его появлением атмосфера наполнилась молодостью, теплым и прекрасным избытком сил, и тут же Клеопатра встретила обращенный на нее взгляд вожделения, в котором женщины никогда не ошибаются. Сколько раз с того первого вечера она ловила на себе тот же взгляд, это столь трогательное признание со стороны мужчины, в ком все было пылом и необузданностью! В другой вечер, когда на мгновение они остались одни, разве она не почувствовала, как горячие уста юноши прильнули к ее плечу? Ее изумление, ее смятение были так велики, что, желая скрыть их, она не нашла иного выхода, кроме бегства. С тех пор он становился робче; но, если он не говорил, если он хранил рядом с ней сдержанность, столь несвойственную его натуре, то лишь потому, что дружба Цезаря налагала печать на его уста. Как бы он посмел? А она сама? Хотя она была далека от того, чтобы не чувствовать угаданного чувства, каким видом приняла бы она признание? Без сомнения, высочайший ранг, который занимал тогда Цезарь, ограждал его как от поползновений легата, который был всем ему обязан и от которого всего ожидал, так и от тех порывов, которые могли бы возмутить сердце его возлюбленной. Как ни соблазнительна была мощная красота Антония, для Клеопатры не было желания сильнее, чем желание славы. Ни за какую другую радость она не отказалась бы от нее. Но сегодня смерть все перевернула. Легат стал императором, у него больше нет повелителя, с которым надо считаться. Если бы это был он, спаситель, о Боже, которого Ты обещал?

При одной этой мысли поток надежды наполнил ее сердце, уставшее от вдовства. Ей не терпится остаться одной, отдаться бесконечному потоку своих грез.

Солнце только что скрылось, и на другом конце неба поднимался чистый серп луны. Вдоль проспектов зажигались фонари, стоящие, словно деревья. У домов тонкими розовыми линиями начинали мерцать плошки, и бесчисленное множество их было развешано, как плоды, на светлых ветвях платанов. Если дневные празднества были пышными и благородными по характеру, то понималось, что вечерние удовлетворят более грубые аппетиты. Царица отдала распоряжения не жалеть ничего из того, что радует сердца людей: у входа во дворец фонтаны лили вино в изобилии, а во внутреннем дворе, на длинных столах, протянувшихся от входа

на кухни до конюшен, публике предлагались мясо, пирожные, сыр. Служба порядка следила, пусть даже и дубинками, чтобы не было захватов, давки, и заставляла каждого, получившего свою порцию, отходить. Многие затем направлялись в театры, где представления были бесплатными; другие предпочитали оставаться на улице вокруг подмостков, на которых гистрионы гремели своими грубыми фарсами, разве что они не предпочитали закончить вечер в оргии, для которой притоны Ракотиса были широко открыты.

Пока люди из простонародья веселились таким образом, теснясь друг к другу в атмосфере пота и пыли, богачи, для которых праздник был каждый день, забавлялись среди самых утонченных изысков. Большинство из них, в час ужина, покидая переполненные кварталы, направлялись вдоль аристократических проспектов, которые к западу от великой столицы казались погруженными в дремоту меж безмолвных садов.

Группа надушенных элегантных мужчин остановилась перед фасадом небольшим, но очаровательных пропорций, окруженным кустами лавра. Раб пришел открыть им. Пройдя через вестибюль, где струился фонтан, они были введены в комнату, от пола до потолка затянутую тысячами папирусных свитков, накрученных на палочки. Это была библиотека, где Полидем, разбогатев на торговле благовониями, любил принимать своих друзей. Приглашенные им в этот вечер принадлежали к самым разным кругам, ибо он любил, чтобы у него обсуждались всевозможные темы и чтобы по злободневным вопросам высказывались свободно. За исключением искусства, где он исповедовал исключительный вкус к греческой красоте, его собственные мнения были достаточно безразличны, чтобы он мог похвастаться, что они мешают чужим когда-либо переходить в ядовитость. Именно так он рисковал сводить вместе секретаря царицы, Аполлодора, чью преданность ей все знали, и легата Деметрия, который сражался против нее под началом Ахиллы; Сати, фиванца древнего рода, приверженного старинным традициям и отвергавшего всякое иностранное влияние, и риторов, проникнутых афинской культурой; финансистов и художников, часто даже философов, столь же далеких от согласия между собой, как и политики.

Раздвинувшийся занавес открыл ярко освещенную трапезную. Между стройными колоннами, на бронзовых акротериях, стояли бюсты Гомера и Пиндара, Зенона, Эпикура и, чередуясь с ними, словно в благодарность этим великим мужам за их снисходительность, изящные женские статуи.

Гости возлегли на ложа, расставленные вокруг стола, уставленного серебряной и расписной глиняной посудой. В его центре алебастровая чаша поддерживала ветви роз, некоторые из которых, будто от тяжести, ниспадали гирляндами на белую льняную скатерть. Едва каждый удобно устроился, облокотившись, были поданы первые блюда: угри из озера Мареотида, политые соусом с тмином, мурены в жиру, молоки, поданные в маленьких кастрюльках. В то же время завязалась беседа, сначала ни о чем, вращавшаяся вокруг событий дня. Один восхвалял процессии, которые никогда еще не были так хорошо отрегулированы; другой – роскошь пиршеств, сервированных во дворах Брухия; третий – представления в цирке, где пали двести зверей и двадцать гладиаторов; четвертый – иллюминацию, от которой, обернувшись к окнам, было видно, как небо краснеет.

Эти похвалы дали Аполлодору повод подчеркнуть щедрость царицы, всегда озабоченной тем, чтобы дать счастье своему народу.

– Да здравствует Клеопатра, – отозвались голоса художников, которых она приютила в покоях Панейона.

– Слава возлюбленной богов!

– Слава той, что услада взоров наших!

– Свет умов наших!

Но, как обычно бывает, похвалы вызвали противодействие. Если у царицы и были страстные поклонники, особенно среди молодежи, впечатленной ее красотой и ожидавшей от ее ума

великих дел, то серьезные люди опасались ее смелости. Во время ее связи с Цезарем они упрекали ее за свободу нравов. Ее младший брат недавно скончался, и самые враждебные намекали: «Что она сделала с своим братом?»

Касательно сегодняшних празднеств, на которые только что сетовали из-за чрезмерных трат, некоторые, с ложа на ложе, обменивались недоброжелательными речами. Разве в это голодное время нельзя было найти деньгам лучшее применение? Другие, чувствительные к некоторым манерам, некоторым вкусам, некоторым способам жить, одеваться, которые Клеопатра, со времени возвращения из Италии, не боялась выставлять напоказ, высказывали в ее адрес горькие критики. В этот самый день, пренебрегая старым церемониалом, пшентом, увенчанным священным уреем, древней тиарой, которой, появляясь на публике, цари и царицы никогда не пренебрегали покрывать свои волосы, разве не заменила она их диадемой? Под этой прической, изящно обрамлявшей ее лоб и виски, хранители египетской традиции с ужасом узнавали менее образ Исиды, чье отражение должна была являть ее жрица, нежели образ некоей Минервы.

Сати не преминул посетовать:

– Это первый раз, когда наш государь отступает от векового обычая.

И на замечание скульптора Никия, что диадема, открывая затылок, восхитительно шла к тонкому профилю Клеопатры, старый фиванец возразил:

– Не поощрять их, а разве не ей первой следовало бы искоренять иностранные моды?

Такая нетерпимость не могла удивлять со стороны человека, все еще носившего древнюю национальную тунику, стянутую поясом с развевающимися концами, и чья завитая борода ниспадала на грудь. Но Аполлодор с улыбкой заметил, что это значит быть очень суровым из-за прически.

К несчастью, предмет был не столь легковесен, как преданный секретарь хотел бы представить. Меньше, чем кто-либо, он этого не знал. Как бы он не узнал в таких нападках образ мыслей тех, кто, имея те или иные причины жаловаться на римское вмешательство, упрекал царицу в том, что она его спровоцировала, и тысячей деталей свидетельствовал, что остается ему верна.

Коварно бывший легат Ахиллы выбрал момент, чтобы напомнить, во что обошлось Египту это вмешательство: два года войны, уничтоженный флот, значительная часть библиотеки, преданная пламени…

Память об этом бедствии, в частности, заставила умы призадуматься, ибо все любили книги и сожалели, что столько сокровищ было утрачено. Неужели ужин решительно повернет к ссоре?

Словно от удара шпоры, Полидем почувствовал необходимость отвлечь внимание. Указав на стеллажи из лимонного дерева, между которыми теснились десять тысяч папирусных свитков, он объявил, что по завещанию оставляет их Городу и что среди них несколько экземпляров, которые были только у него, заменят те, что были так несчастливо уничтожены.

Это великодушное деяние было горячо оценено. Друзья доброго гражданина поздравили его с этим, и все единодушно высказали пожелание, чтобы завещание, о котором они только что узнали, осуществилось как можно позже.

Начиналась вторая перемена блюд. Над огромным металлическим чаном внесли, целиком на вертеле, барашка, чье мясо аппетитно шипело; затем, на подносе, окруженном тысячей приправ, – гигантского гуся, целиком приготовленного с перьями, чье брюшко было нафаршировано бекасами. В мгновение ока эти яства были разрезаны и поданы, начиная с гостей, сидевших ближе всего к хозяину дома. Они пользовались, чтобы брать еду, серебряными лопатками и черпали соус из глубины блюд ложками с резными ручками. Отблески факелов золотили скатерть, а запах роз был так силен, что, смешиваясь с яствами, казалось, приправлял их. Заня-

тые едой челюсти оставляли мгновения тишины, во время которых слышались быстрые шаги рабов, сновавших взад и вперед по ковру.

Через одного из них внезапно разнеслась весть, что в гавань только что востигла галера с важной почтой. О содержании почты пока ничего не было известно, ничего точного не узнают до завтра; но ходили слухи, что в Риме произошли серьезные события. Пронесся взволнованный шепот. Как будто при каждом движении они чувствовали, как затягиваются петли сети, которая должна была когда-нибудь опуститься на них и захватить их, египтяне тревожились из-за всего, что приходило оттуда. Что же они услышат? Какие ужасы? Какие новые скандалы? Ибо с тех пор, как Форум превратился лишь в поле для спекуляций, в вертеп разбойников, сколько раз уже не доносилось до них эхо ужасных сцен, разыгрывавшихся там!

Желая, чтобы мир его трапезы не был нарушен вторично, Полидем высказал надежду, что с победой цезарианской партии наступит эра порядка. Но почти все возразили: Какого порядка? Какое правосудие можно было ожидать от людей, которые, защищая одно дело, не переставали раздирать друг друга? О Лепиде не говорили ничего; его посредственность спасала его от пересудов. Но Антоний? Но Октавиан? Кто из них покрыл себя большим позором? Бывая хозяевами положения по очереди, их видели согласными лишь в том, чтобы обмениваться списками проскрипций. При их совместном консульстве ужас грабежей и убийств превзошел все, что видели при Сулле. И, в поднявшемся гвалте голосов, каждый принялся приводить отвратительные примеры, свидетелем или доверенным лицом которых он стал благодаря переписке или рассказам:

– Во время исполнения своих обязанностей, – рассказывал Евдокс, – претор, узнав, что его только что внесли в проскрипции, бежит. Слишком поздно! Не успел он переступить порог Трибунала, как центурион пронзает его.

Ликон утверждает, что из страха быть скомпрометированными, матери запирали дверь перед своими сыновьями, попавшими в подозрение; что дочери указывали, где спрятан их отец.

Даже дети, по словам другого, не были в безопасности. Одного из них, шедшего в школу, схватил палач и на глазах у родителей казнил.

– Но главное! Главное! – воскликнул ритор Антип, совершивший путешествие в Рим только ради того, чтобы хоть раз услышать голос великого оратора, – это убийство Цицерона.

– Непростительное преступление! – подтвердил один из его коллег, – и которое навсегда запятнает образ Марка Антония.

Аполлодор, которому тот оказал услугу в момент побега царицы, попытался взвалить всю гнусность этой казни на Октавиана. Это он, друг Цицерона, хладнокровный и трусливый, без всякой личной обиды, предал его! Его, которого всего за несколько дней до того Цицерон прижимал к сердцу, называя: «Сын мой!»

Лица собравшихся скривились, словно при виде змеи рядом. Затем снова заговорили о Марке Антонии. Несмотря на свои преступления, этот, по крайней мере, с его грубым плащом, который он надевал, чтобы идти пить в компании солдат и девок, с его огромным мечом на перевязи и колесницей, запряженной львами, в которой он разъезжал с куртизанкой Киферидой, – иногда вызывал смех. Даже раздался голос в его защиту, ибо храбрецы всегда находят защитников. Философ Ликон, проповедовавший презрение к жизни, напомнил, что в момент, когда заговорщики были еще с кинжалами в руках, когда Октавиан прятался, когда повсюду царил ужас, Антоний имел мужество потребовать для Цезаря пышных похорон и произнести над телом своего благодетеля речь, прославлявшую его добродетели.

Но эта похвала встретила мало сочувствия. Группа образованных, утонченных мужчин, слушавших его, не могла интересоваться грубияном вроде Антония, чьи достоинства проявлялись лишь на полях сражений.

Скульптор Никий обрушился на римлян с гневной обличительной речью: «Если нашествие этих варваров продолжится, что останется от цивилизации?» Уже, – он знал это, он,

только что вернувшийся из Коринфа, – многие восхитительные здания погибли. Греция была полна руин. Сколько еще придется оплакивать?

Ужин подходил к концу. Пирожные и кремы распространяли свой медовый аромат. Свежесть лимонов казалась тем более восхитительной, что пища была сильно приправлена пряностями. Напитки, с самого начала, лились все более изысканные по мере приближения к десерту. После сидра и медовухи отведали финикийских вин с нежным вкусом фиалки, затем горячих испанских ликеров. Дошли до знаменитых галльских вин; светлые и игристые, они развеяли мрачные мысли.

И вот разговор зашёл о женщинах. Их отсутствие, столь непривычное в доме Полидема, объяснялось просто: приглашённые им на этот вечер дамы (в основном гетеры, ибо он был холост) оказались заняты в иных местах. Молодые люди, увлекавшиеся искусством верховой езды, уговорили Фаустину и Лею пройти на стадион посмотреть бега их лошадей. Хлорида не расставалась с актёром Навдром по вечерам, когда он, обувая котурны и беря в руки маску, декламировал роль Ореста, – роль, которая приносила ему столько любовных побед. Пир у Гатены привлёк Муссарию и Трофену, ибо было известно, что там будут два сына банкира Рупилия и сын богатейшего судовладельца из Эфеса. Многие же, наконец, предпочли сохранить свободу, дабы иметь возможность бродить до поздней ночи по Гептастадиону, где в такую ночь нельзя было не сделать выгодного знакомства.

Старшие сошлись во мнении, что для приятной трапезы можно вполне обойтись и без женщин.

Сати высказал мнение, что их присутствие чаще всего даже вредит беседе.

– Не потому ли, что они стыдливы? – пошутил Ликиас, любивший подтрунивать.

– Они не могут говорить ни о чем, кроме любви, – вздохнул финансист с видом усталости.

Поэт Меланис, до сих пор хранивший молчание, возвысил голос в знак протеста. Разве в часы и в места, не посвященные исключительно любви, следует лишать себя удовольствия вызывать ее прелестные образы?

– Мне кажется, – заявил легат, – любовь только проигрывает, когда о ней говорят.

В этот момент с величайшими предосторожностями виночерпий внес амфору. То было дивное кипрское вино, один из тех любительских урожаев, к которым губы прикасаются лишь с почтением. Многие в тот день заявили, что никогда еще нечто столь вкусное не ласкало их горло.

– О, нектар! Золотой источник, в котором отражается солнце! Сосуд, что благость богов излила на землю, дабы веселить сердце человека! – импровизировал молодой Меланис, войдя в раж.

Пользуясь благодушием, что разливает вино вокруг стола, Аполлодор напомнил, что если Кипр вновь стал египетской провинцией, если продукт его виноградников ввозится в Александрию беспошлинно, то этим обязаны Клеопатре.

– Без сомнения, – подтвердил Полидем. – Возвращение остра было подарком по случаю восшествия на престол, сделанным Цезарем царице.

Сочная реальность заставила забыть претензии. Даже те, кто критиковал ее наиболее резко, подняли свои чаши в честь Клеопатры, и хозяин дома имел удовольствие видеть, как трапеза, едва не потонувшая в пучине споров, завершилась в полном взаимопонимании.

Около одиннадцатого часа, когда рабы удалились, позвали танцовщиц, которые, собравшись под перистилем, ждали в компании музыкантов. То были двенадцать девушек чистейшей нильской расы, чей тип сохранился и поныне, и которых называют цыганами. Под звуки пятиструнной лиры их гибкие тела пришли в движение. Фигуры, которые они сначала исполняли, то сближаясь, то расходясь, чтобы вновь сойтись и отпустить руки, были менее танцем, чем игрой извивов и граций, подобной той, что ведут нимфы с преследующими их сатирами. Но это первое развлечение вскоре уступило место более оживленным забавам. Загремели бубны

и кимвалы. Словно ноги, до того лишь изящно сгибавшиеся и выпрямлявшиеся, получили неодолимый импульс. В то же время, как из-под подведенных век черные глаза метали молнии, целый ритм криков, ударяемых каблуков, сталкивающихся колец поразил воздух. Вихрь обнаженных плотей смешивался с взлетом тканей; согнутые спины выпрямлялись; руки, изогнутые, как ветви, сплетались друг с другом, чтобы внезапно распасться.

То нежные и сладострастные, то повинуясь неистовой музыке, танцы продолжались таким образом добрую часть ночи. Самые старые гости, отяжелевшие от обильной трапезы и возлияний, вскоре впали в сонное равнодушие, тогда как молодые, чье внимание во время ужина было вялым, чувствовали, как в них загорается лихорадочный жар. С каким-то опьянением их взоры приковывались к этим женским жестам, которые, словно в невыразимом ритуале, пародировали перед ними любовь, заставляли ее извиваться, расширяться, а затем внезапно, стремительно, торжествовать в объятии.

Вокруг алебастровых чаш розы окончательно умирали. Факелы, один за другим, в углублениях светильников угасали. Бледная заря проникала в щели между занавесями. С благодарностями любезному и уступчивому хозяину, хорошо их принявшему, гости попрощались с ним.

Аполлодор, которого обязанности звали рано в Брухий, счел, что у него нет времени вернуться домой, ибо дом его был далеко, на дороге в Саис. У него было, по крайней мере, время на прогулку. Небольшая ходьба послужила бы к тому, чтобы развеять последние пары кипрского вина.

Город был теперь пуст. Тишина в нем восстановилась, но с недавних пор, и плиты мостовой еще вибрировали от стольких ног, теснившихся на их мраморе. Кое-где на земле валялись гирлянды, рядом с потерянными вещами, разорванными тканями и прочими обломками того, что накануне было щеголеватым. Как удержаться от грусти при виде этих опустевших площадей? Этих умерших вещей? Ритор размышлял, он размышлял меланхолично о том, что говорилось у Полидема. Ах, как же непокорны, буйны, трудны для управления подданные Клеопатры! Сколько враждебности против нее! Сколько обид, готовых объединиться, вызвать одну из тех революций, в которых беспрестанно бились ее отцы! И она сама, из скольких ловушек ей уже не пришлось выпутываться? И он вспомнил день, когда в рыбацкой лодке он отправился искать ее на берегу Канопа. Но тогда могущественная защита ждала ее, должна была трудиться для нее. Сегодня, одна, критикуемая, оспариваемая, будет ли она достаточно сильна?..

Размышляя таким образом, Аполлодор достиг ворот дворца. В дымчатом свете утра легкая архитектура на своих многочисленных колоннах казалась почти воздушной. Каков же был он изумлен, когда на одной из террас узнал царицу. Волосы ее были распущены, и шарф развевался на дыхании морского бриза. Наведя справки, он узнал, что в тот момент, когда служанки собирались уложить ее в постель, прибыл гонец, с которым она долго беседовала. После этой беседы она проявила полную радость. «Бывают моменты, когда жизнь слишком прекрасна, чтобы что-либо уступать сну», – ответила она прислужницам, уговаривавшим ее немного отдохнуть. И, оставшись одна, она развернула свитки, которые подтверждали все, что ей только что сообщили. Событий было так много и столь неожиданных, что ей случалось перечитывать детали по два и три раза, а затем повторять их про себя. Итак, это была сущая правда: наконец примирившись после победы, мстители Цезаря образовали новый триумвират. Империя мира принадлежала им. Они поделили её, или, вернее, её разделил по-своему Марк Антоний – единственный, кто, пока больной и объятый ужасом Октавиан стучал зубами в своём шатре, сражался и победил.

Предоставив своему жалкому сообщнику управление варварской Галлией и разорённой частью Италии, всё ещё полной мятежных слухов, а Лепиду, который даже не участвовал в войне, – непокорной Испанией и африканскими провинциями, он, верховный арбитр, обожа-

емый предводитель тридцати двух легионов, герой, перед которым все склонялись, присвоил себе Восток. Это была вожделенная, заветная доля, ибо она заключала в себе богатство.

Итак, слова бога не были тщетны. Обещание получало полное осуществление. У Клеопатры будет союзник столь же могущественный, как Цезарь, и именно тот, кого всем своим желанием она призывала. То, что женщина, подобная ей, при стечении обстоятельств может сделать с мужчиной, с великим мужчиной, она знала: прошлое научило ее этому. Не был ли это момент, чтобы повторить опыт? Попытать с другим счастье, которое в первый раз ее предало? Поток надежды вновь потек в ней. Это было в глубине ее сердца, словно волшебная река разом унесла печаль. Будущее вырисовывалось, наполненное прекрасными перспективами. Она открывала глаза, смотрела. Чувствуя себя стесненной между стенами своей комнаты, она вышла на террасу. Ночь заканчивалась. Покров, казалось, колебался между небом и морем. Внезапный луч пронзил его, весь горизонт стал розовым, и в прозрачном разрыве, золотистая и алая, показалась заря.

3. Марк Антоний.

На страницах, написанных льстецами Августа, Антоний изображен как воплощение всех пороков. Безусловно, его противники имели право обличать личность, от которой за версту разило скандалом, и которую чрезмерность страстей ввергла в преступление борьбы против собственного отечества. Понятно, что люди благонравные, умеренные, упрекали его за распущенность нравов, его громкие хвастовства, кубки, осушаемые по любому поводу и без меры, неистовую роскошь его трат, его золотую посуду, перевозимую – вместе с его любовницами, мимами и шутами – даже в лагеря, где он командовал, львов, впряженных в его колесницу, – одним словом, все те эксцентричности, которые позволили охарактеризовать его как: «Огромное дитя, которое могло бы завоевать мир и не сумело устоять перед удовольствием».

Но, наряду с этим, сколько же очаровательных качеств остаются в тени! Без них, без этих, так сказать, врожденных качеств, проглядывающих сквозь лживый наряд, как объяснить постоянное, неотразимое обаяние, которое этот жизнелюб оказывал на всех, кто его окружал? Мы знаем, что симпатия вызывается к людям не столько благодаря добродетелям, которые они с усилием практикуют, сколько тем, что стоили им лишь труда родиться. Что из этого заключить, как не то, что Антоний был одарен самым обворожительным образом? Великолепный телом и лицом, великосветский, пылкий, с заразительной веселостью, грубый порой, но никогда не злобный, он обладал всеми талантами, которые делают жизнь приятной и заставляют таковой ее ощущать и вокруг себя. Его щедрость была знаменита, и его друзья знали, что могут на нее рассчитывать. Кто же в таких случаях станет медлить? Один из них, Курион, гуляка like him, оказавшись в затруднительном положении, пришел к нему однажды утром, пока он одевался. Как раз накануне Антоний проиграл в кости до последнего сестерция. Оба друга в смятении. Они были в походе, далеко от Рима, и затруднение было срочным. Что делать? Где найти нужные деньги? Антоний оглядывается вокруг. Снаряжение, оружие, звериные шкуры – ничего, что имело бы денежную стоимость. Вдруг он замечает таз, в котором приготовлена вода для умывания. Быстрым движением он выливает ее.

– Держи, – говорит он, – возьми это, золотых дел мастер даст тебе за него целых два таланта.

Если он и расточал деньги не считая, то никогда не добывал их низкими способами. Среди всех мерзостей, в которых его обвиняет Цицерон, его смертельный враг, тот не может не отдать ему должное: «Достоверно, что его нельзя упрекнуть в финансовых злоупотреблениях, в корыстных видах, ни в какой-либо подлости подобного рода».

Несмотря на свое распутство, несмотря на свою прискорбную склонность к пьянству, Антоний не был лишен благородства. Это Сенека, вновь враг, признает это: «Великим мужем благородного дарования» – так он его характеризует. И какая прекрасная черта в характере человека, даже в его интеллектуальных достоинствах, – это постоянное и без зависти подчинение величию другого! Пока Цезарь жив, его младший боевой товарищ считает, что его место – на втором плане. Чтобы у него возникла мысль выйти на первый, нужно, чтобы старшего брата не стало и, на его месте, ему пришлось помериться силами с Октавианом.

Но именно на полях сражений эта богатая натура раскрывалась полностью. Терпеливый, крепкий, невозмутимый, образец выносливости и подчинения дисциплине, Антоний вызывал всеобщее восхищение. Солдаты, которые в момент опасности видели, как он первым бросается на врага и с неукротимой яростью подвергает собственную жизнь риску, пошли бы за ним на край света. Они смотрели на него как на бога. В этом организме, где все превосходило обычную меру, реакции тоже были масштабными. Чем больше его сковывали, подвергали испытаниям, тем с большим неистовством он требовал компенсаций. Во время героического отступления из Мутины он соглашался спать на голой земле, утолять жажду стоячей водой, питаться дикими

кореньями; но зато потом – какое отыгрыш! Едва лишь наступал мир, право на хорошую жизнь заявляло о себе, и начинались те знаменитые оргии, которые не отказался бы признать своими и Силен. При таком режиме любое иное сложение, кроме антониевского, не выдержало бы. Его же было поразительным. Подобно тому как умеренность – правило для других людей, он чувствовал себя в своей стихии лишь в излишестве. От каждой сурово перенесенной тяготы, как и от каждого безмерного удовольствия, он выходил окрепшим, ожившим. Казалось, он в них закалялся.

Однако, сколь щедрой ни была природа, она отказала этому внуку Юпитера и Семелы в самом основном из даров, без которого другие служат лишь мало чему: ему недоставало здравого смысла. Как же он мог бы рассуждать здраво? Его страсти обладали такой неистовостью, что они увлекали его прежде, чем у него появлялось время поразмыслить. Неодолимые, они овладевали им, распаляли его подобно тем ураганам, что утихают, лишь все опустошив на своем пути. Два противоположных начала оспаривали эту мятежную и слабую душу: честолюбие и сластолюбие. Каждая, попеременно становясь владычицей, бросала его в крайность. Первая, всемогущая в начале жизни, вдохновила его на блистательные деяния, которые выдвинули его во время кампаний в Галлии и Киликии; она же, после смерти Цезаря, сделала его грозным мстителем против заговорщиков; она же, между двумя авантюрами, толкнет его по следам Александра на завоевание Персии. Другая, однако, в конце концов должна была взять верх. Мало-помалу мы увидим, как сластолюбие овладевает этой прекрасной добычей, сжимает ее, захватывает ее способности, подавляет их одну за другой и, в конечном счете, низвергает ее в самую глубокую из бездн.

Но сегодня, на следующий день после Филипп, прежде чем ступить на эту землю Востока, которая станет его триумфом и его погибелью, Антоний пребывает в полном равновесии. Если его чувства и кипят, его мозг все же занят самыми грандиозными проектами. В момент отбытия из суровой македонской кампании, которая даровала ему победу лишь ценою суровых жертв и которая все еще окутывала его стужей ледяной зимы, он мечтает о прекрасных солнечных странах, что ждут его, о тех краях изобилия и радости, хозяином которых сделала его доблесть. С чего начнет он их исследование? Каждая манит его, влечет к себе, каждый берег сулит ему какое-то новое очарование. И прежде всего, за Оссой, Пелионом, что замыкают его своими снежными вершинами, – это утонченная, светоносная, остроумная Аттика; затем, по соседству, побережье Азии, всюду кишащее городами, один богаче и знаменитее другого: Смирна, Эфес, Пергам; это также Сирия с ее пальмами, садами, полными вкусных плодов, ее Ливан, откуда выходят караваны, идущие с Дальнего Востока, нагруженные шелками, драгоценными камнями; Палестина, бесплодная среди своих оливковых рощ, но над которой царит, которую ослепляет священный Иерусалим и его храм, вечное паломничество, к которому с четырех сторон света приходит биться прилив и отлив еврейского народа; это, наконец, Египет, Египет фиалок и ладана, царство Клеопатры!

С тех пор как смятение Мартовских Ид внезапно разлучило их, Антоний не забыл прекрасную царицу. Как часто, среди революционных тревог или во время долгих ночных бдений под шатром, он вызывал в памяти ее волнующий образ! Как часто ему казалось, будто он вновь видит тот неопределимый взгляд, которым, когда она была уверена, что за ней не наблюдают, возлюбленная Цезаря отвечала на его взор! Нежный и бархатистый, меж длинных ресниц, этот взгляд, скользивший к нему, словно приглашая полюбить его, оставил в нем ощущение столь живое, что его плоть, и теперь, временами, вся содрогалась от него. Какие заглушенные речи во время вечеров в Трастевере поднимались со дна его сердца! С настойчивостью неудовлетворенных желаний, он постоянно возвращался к ним. Постоянно он говорил себе, что то, что присутствие Цезаря делало невозможным, теперь стало тем, на что он мог претендовать. Клеопатра была свободна, а он, в свою очередь, разве не стал одной из опор мира? одним из тех людей, на которых любая женщина, будь она царицей, может с гордостью опереть свою

жизнь? Прежде всего, он обладал этим волшебным даром молодости, который позволяет надеяться на все и который, перед самыми прекрасными, самыми завидными уделами, позволяет сказать себе: «Почему бы этому не стать моим?» Одно сомнение, однако, одолевало его: какое впечатление произвел он на Клеопатру? Ничто в их отношениях не могло проинформировать его на этот счет. Расположенной к нему, несомненно, она была; но прежде всего осмотрительной, внимательной не возбуждать ревность Цезаря. Какое чувство руководило ею в тот день, когда, оказавшись на мгновение наедине с ней, он отважился поцеловать кончик ее нежного обнаженного плеча, и когда, не говоря ни слова, без суровости, без улыбки, словно прекрасный сфинкс, она отвернулась и покинула атрий? Была ли то любовь к великому человеку, что сделала ее столь осторожной? Или лишь страх скомпрометировать его могущественное покровительство? Нет, никогда он не сможет распутать сложную душу этой женщины, ни забыть ее кошачью грацию, ни, особенно, этот взгляд, этот глубокий взгляд, что оставлял тебя взволнованным, словно весенняя ночь. Что сталось с ней за эти два года? Что произошло в ней? Он ничего не знал о ее жизни, о ее действиях. О, если бы он мог увидеть ее снова!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.